



Александр ДЕНИСЕНКО

СТИХИ И ПРОЗА

Избранное



БИБЛИОТЕКА
СИБИРСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

Новосибирск
2019

УДК 821.161.1
ББК 84(2=411.2)6
Д332

Серия «Библиотека сибирской литературы»

Редакционный совет серии:

*В. Г. Деев, Е. Ф. Мартышев, Е. А. Сазонов,
С. А. Тарасова, А. Б. Шалин, М. Н. Шукин*

Редакторы-составители:

М. А. Косарев, М. Н. Акимова, М. Н. Шукин

Дизайн серии: *Д. А. Дроздов*

*Издание подготовлено при поддержке
Министерства культуры Новосибирской области*

Денисенко, Александр Иванович

Д332 Избранное : стихи и проза / Александр Денисенко ; [ред.-сост. М. А. Косарев [и др.] ; авт. вступ. ст. М. Шукин, М. Косарев]. – Новосибирск : ГАУК НСО НГОНБ, 2019. – 247 с. : [1] л. портр. – (Библиотека сибирской литературы / ред. совет: В. Г. Деев [и др.]).

ISBN 978–5–88742–172–8

Знак информационной продукции 16+

Стихи и проза Александра Денисенко – яркое явление в литературной жизни Сибири и России последней четверти прошедшего столетия и начала нынешнего. Его произведения вошли в антологию русской поэзии XX века. Настоящее издание наиболее полно представляет творчество нашего земляка.

УДК 821.161.1
ББК 84(2=411.2)6

ISBN 978–5–88742–172–8

© Денисенко А. И., тексты, 2019
© ГАУК НСО НГОНБ, 2019

Как добрая весть

«Доживем мы до страшных седин...»

Вот и дожили.

Душа все чаще оглядывается назад, пытаюсь разглядеть в сизой дымке минувших лет саму себя, какой она была тогда – юной, восторженной, открытой цветущему миру и бесконечно влюбленной в этот мир.

Именно в такое время, семнадцатилетним, будучи, пожалуй, самым молодым в литературном объединении Ильи Фоянкова, услышал я впервые от старших товарищей стихи неведомого мне еще Дениса, как все называли Александра Денисенко:

Белым-бело сегодня в НСО...

Услышал, запомнил и живут они со мной уже почти пять десятилетий. Согласитесь, что срок серьезный. Поизносилась душа за это время, нет уже в ней былой юной восторженности, но всякий раз, когда звучат в памяти прекрасные строки, осыпается ржавчина обыденности и снова хочется смотреть на мир глазами ребенка – чисто и светло.

Писать о стихах Александра Денисенко невероятно сложно. Можно, конечно, пуститься в литературоведческие рассуждения о рифме, ритме и прочем, но все это будет не главным, да и не нужным, потому что трепетная струна, звучащая в его стихах, не поддается разъятию, она – удивительно цельная. Поэтический мир Александра Денисенко не спутаешь ни с каким другим, он ни на кого не похож,

он – особенный. И особенность эта заключается в том, что каждое слово бережно согрето искренним чувством. Для нынешнего времени обстоятельство чрезвычайно важное, потому что именно чувства не хватает в современной поэзии и пробел этот не восполняется даже самыми изощренными филологическими изысками.

Поэзия Александра Денисенко – живая, теплая. Она взывает прежде всего к душе человеческой, и душа, если она тоже живая, отзывается с благодарностью.

Я искренне рад, что замечательные стихи Александра Денисенко, собранные в этой книге, явятся к своему читателю как добрая весть о том, что в нынешнем прагматичном времени еще живы любовь, сострадание, печаль и радость.

Михаил Щукин

«Чтоб светилось её жертвенное лезвие...»

О поэзии Александра Денисенко

*Наша наглухо закрытая поэзия
Жарко молится, да толку ни на грош.
Чтоб светилось её жертвенное лезвие –
Золотую свою голову положь.*

Александр Иванович Денисенко родился в 1947 году в селе Мотково Новосибирской области. В пору взросления интерес к поэзии привел его в Новосибирский пединститут, который в 60–70-е годы прошлого века называли «вторым (или «сибирским») литинститутом», а также в знаменитое городское литобъединение Ильи Фонякова, в котором скромный студент очень скоро получил первое настоящее признание.

Наша юность зацвела в Новосибирске...

И.О. Фоняков — замечательный поэт, глубокий критик, собственный корреспондент «Литературной газеты» по Западной Сибири, собрал под свое крыло действительно талантливую, яркую молодежь. Здесь Денисенко нашел друзей и единомышленников: Александра Плитченко, Ивана Овчинникова, Валерия Малышева, Анатолия Маковского и других. Здесь же зародилось движение «нетакистов-тетражистов» — легендарное явление поэтической жизни Новосибирска, которое еще ждет своего исследователя.

Эти звучные — придуманные настоящими мастерами — слова были призваны отобразить тот в общем-то невеселый

факт, что пишут составившие неформальное сообщество молодые таланты «не так», как полагается с точки зрения норм и задач советской поэзии, и следовательно — пишут «в тетрадь», «издаются» в одном экземпляре.

Неприятие стихотворного официоза для Александра и его товарищей по перу не носило идеологического характера. Как вспоминает Нина Садур, поэт, драматург, выходец из все той же поэтической среды Новосибирска начала 70-х, ее друзья были совершенно аполитичны. Но того, что им представлялось профанацией поэзии, они не могли принять ни в каких процентных долях.

Может создаться впечатление, что это позиция высоколобого эстета, отгородившегося от мира и «плебса», чтобы сохранить незамутненность божественного поэтического источника. И действительно, многим случалось соблазниться ролью жрецов «чистого искусства». Однако все это совершенно чуждо Александру Денисенко — настолько открыт и лишен всякого снобизма и высокомерия его поэтический мир. Он «внемлет», используя пушкинское слово, всё, но его «глагол» не жжет сердца, а согревает душу.

Все дело в доброте и в мудрой, какой-то несуетной — редкое качество — иронии.

*Бабы его белым коленкором
Спеленали, будто он родился,
Мужики на белых полотенцах
Отнесли, наверно, в самый рай.*

(«Дед Валера»)

В самых печальных и тревожных стихах все равно звучит эта ироническая интонация — и банальная фотография превращается в живописное полотно.

*За двухолмием – река и переправа,
Водоскат, и водослив, и водосброс –
Светит нежная, но слабая орава
Древнерусских забинтованных берёз.*

Конечно, это душевно затратно — принимать мир во всех его проявлениях и стараться, чтобы душа не загубела, не перестала светить.

*Я забыл, что со мною случилось
За минувшие несколько лет,
Отчего так душа омрачилась,
Кто убавил в ней ласковый свет...
Этой вежливой жизни изжога,
Выжигая свой жадный узор,
Ничего не жалела живого,
Вынуждая на стыд и позор.*

Не просто «свет», но «свет ласковый». В этом весь Денисенко, в этом обаяние его стихов.

В последние годы сложилось мнение, основанное, видимо, на нынешнем спартанском положении поэзии, что в советские годы всё у поэтов было блестяще. Вспоминают поэтический бум 60-х, ну и, конечно же, отлаженную систему книгоиздания. Это и верно, и не верно. Количество «вакансий» поэтов, особенно в провинции, было весьма ограниченным. Ничего не поделаешь, экономика плановая. Поэтому многие стихотворцы до седины ходили «в молодых», ожидая свои первые книжки, а такие, как Денисенко, чьи тексты «причесать» было совсем невозможно, не имели и этой перспективы.

Александр Иванович работал в эти годы на телевидении, в газетах, а в конце 80-х — редактором в Сибирском отделении издательства «Детская литература». Эта редакция для Новосибирска — тоже явление легендарное. Здесь цари-

ла веселая и деловая, по-настоящему творческая атмосфера. А.И. Плитченко укомплектовал штат в основном поэтами своего поколения. Может быть, главный редактор решил поддержать собратьев, но скорее всего – просто верил в их вкус и чуткость к слову. И не ошибался.

У Александра Денисенко тоже всегда было сильно чувство поколенческое, чувство принадлежности к «гнезду поэтов» (так назван коллективный сборник 1989 года с его участием). Например, свое хрестоматийное «За деревней, в цветах, лебедь и крапиве...» он посвятил Николаю Шипилову, а не менее сильное «Чёрный снег замаячит на взгорье...» — Александру Плитченко.

Вскоре после «Гнезда поэтов», в 1990 году, увидела свет первая книжка А. Денисенко «Аминь».

«Детская литература» просуществовала в Новосибирске совсем недолго. Времена стремительно менялись.

И свобода, словно тварь сторожевая,
Ухватила за бумажное плечо.

Свой следующий сборник А. Денисенко увидит только в 2000 году. Однако в его случае признание опережало книги. Истинный масштаб его дарования стал очевиден многим. Его стихи регулярно появлялись в антологиях русской поэзии («Итоги века», 1997; «Антология русской поэзии XX века», 2001; двухтомник «Русские стихи 1950–2000 гг.», 2010 и др.). Не обижен он и прочими знаками признания: лауреатскими званиями и т. п. Однако выход к читателю этого томика «Избранного» следует признать событием хотя и запоздалым, но оттого не менее значимым. Надо отметить, что он стал возможным благодаря всесторонней поддержке Министерства культуры Новосибирской области, а также энтузиазму давних друзей Александра Ивановича и поклонников его таланта.

Михаил Косарев

**ГДЕ ОНА,
НАША
СТАНЦИЯ?**

Где она, наша станция?

...и начал жить. Лет шести батя впервые взял меня в город на пригородную, и этот день мне сильно запал ещё и оттого, что накануне мама сшила из отцовской вельветки какую-то курточку, в которую я по-детски влюбился из-за её мягкости и удобства, и уже во всей моей жизни не было у меня лучшей одежды.

На станцию мы шли по черёмуховой тропинке, что вилась вдоль берега Ини. Отец снял гимнастёрку и, постукивая прутиком по голенищу, читал ясные, как бы сами собой получающиеся в груди стихи какого-то поэта Василия Тёркина, и мне казалось, что в особенно хороших местах речка как бы затихала, прислушиваясь к батиной скороговорке.

Когда мы пришли на станцию, то увидели на опасном пути старенький паровоз, который притащил телячьи вагоны и по какой-то надобности остановился на Льнихе: отдышаться, что ли? Отец ушёл на вокзал покупать билеты, а я уселся на высокий зелёный откос рассматривать вагонные домики и вдруг увидел, как из пролома в досках на меня смотрят высокие, невыносимо грустные лиловые глаза. Я спустился поближе, чтобы разглядеть, кто это был: бычок или корова? По пути я сорвал пучок травы, но она падала, не долетев, и когда я наклонился поднять упавшие травинки, то услышал, как по полу вагона переминаются в плену и неволе десятки усталых ног, как тяжело вздыхает обречённая на убой скотина, и среди этого шума я вдруг различил детский плач – это плакал молодой бычок, такой, какие пасутся у нас за огородами.

(В этом месте я немножко пропущу, не знаю, как тут описать.)

– Эй, паренёк, – окликнул меня из окошка локомотива чернобровый машинист, – а ну, поди-ка сюда!

Он спустился на несколько ступенек и подал мне чистую угольную руку: заходи в гости, поглазей маленько...

Я шагнул следом за ним в жаркий металлический домик, удививший меня своей чёрной чистотой и опрятностью: всё здесь среди угля и мазута блестело без солнца.

– Да здесь он, zde-есь! – подводя меня к окну, крикнул машинист озирающемуся отцу. – Zde-есь! Технику безопасности принимает! – И спросил меня: – Ты откуда, сам-то?

– Из Моткова.

– На-ко, возьми на память, – и он сунул мне в ладошку маленький, чёрный с золотыми переливами, кусок антрацита. – Привет с Кузбасса!

И лишь много лет спустя я догадался, зачем позвал меня дорожный человек от того вагона и зачем остановились напротив меня те очи, изменившие мой хрусталик. Теперь, сколько ни протираю свои глаза – всё мне кажется, что в том вагоне ехали поэты. Сменяя друг друга, стоят они у несчастного окна, всматриваются в быстробегущий зелёный мир: не мелькнёт ли где на высоком откосе ещё один деревенский мальчик.

– Э-эй, паренёк...

Так я попал на литобъединение, где встретил других ребят с косогора... Где она, наша станция?!

* * *

Красный, как май, жеребец –
Надо ж такому присниться:
Будто бы мать и отец
Едут в деревню Провинция.

Чёрный, как ночь, жеребец
Должен вот-вот появиться.
Ждут меня мать и отец
В тихой деревне Провинция.

Белый, как снег, жеребец,
Дай мне ещё помолиться:
Живы и мать, и отец
В светлой деревне Провинция...

* * *

Грусть невестина. Идёт тёплый снег.
Всё поставлено на свои места.
Мне невесело. Я люблю вас всех,
Кто любить меня перестал.

Вот начало пути. По нему пойду
Вместе с вами, возьмите, а?
Чтоб не видеть, как бедная церковь в саду
Прячет очи от глаз вытрезвителя.

Сколько ног вышивало мне снег под окном,
А потом, когда пряжа рвалась,
Я прощенья просил у знакомых икон,
Что втоптал эту вышивку в грязь.

Возжалеть бы о прошлом, но чёрт начеку –
Кони сбились с дороги и встали,
И не могут никак заступить за черту,
Где любить вы меня перестали.

Грусть невестина. Идёт вечный снег.
Всё поставлено на свои места.
Мне невесело. Я люблю вас всех.

О вы, кто может

Да здравствует волнующая живопись
С угрюмой прелестью насыщенных тонов –
Я любовался маленький, как жимолость,
На этот выразительный улов.
Недорисованная птица,
 Летающая домой
 С одним крылом
 Через окно,
 Приставленное к небу,
Лицо без глаз и без бровей. Его объём
Подобен недоеденному хлебу,
Когда мы хлеб в лицо не узнаём.
Во всём сквозит какая-то небрежность,
Здесь есть и сладость, и беспечная печаль,
И роковая сердцу неизбежность,
Когда ничуть хорошего не жаль.
Транспортировка самых нежных чувств
На полотно душевного разгула –
Важнейшее из радостных искусств:
Художник – самый храбрый в мире трус,
А полотно пред ним – как амбразура.
Любитель странствовать по тёмным кабакам,
И тратить красочки на жанровые сценки,
И рисовать на скатерти стакан,
Бутыль и сыр по брежневской расценке,
Забыв про качество и очерёдность блюд,
Он пьёт вино, добавив каплю охры,

В его стакан румянец свой сольют
Две слабосисих девушки из ВОХРЫ.
Его я встретил в собственном глазу –
Он шёл домой и тёмн был, как сажа,
В руках светилось смятое в грозу
Большое приключение пейзажа.
Большие виноградные глаза,
Покрытые серьёзным выраженьем,
Смотрели на меня, как на козла,
С каким-то дорогим предубежденьем.
Весь бледный от полуночных трудов
И злоупотребления искусством,
Он нёс домой свой маленький улов,
Как ласковая грозная мангуста.
...Сознание вновь темнеет на свету,
Я с головой осыпан лунной пылью,
Как маленькая жимолость в цвету,
Привыкшая к такому изобилью.

* * *

Памяти
Александра Плитченко

Чёрный снег замаячит на взгорье,
И метель дорогих деревень
Нарыдавшись, вплетёт в изголовье
Отгоревшую в горе сирень.

Там на небе цвета побежалости,
Разливаясь в причудливый свет,
Просияют печалью и жалостью,
Для которых названия нет.

Вот и хлынула кровь из России,
Вот и замерли руки по швам –
Всем всучили, хоть мы не просили,
Кому срам, кому шарм, кому шрам.

В мавзолее вечернего сада
Поплывёт по рукам стеарин,
Есть в России одна лишь награда –
Крест нагрудный из двух крестовин.

* * *

Я забыл, что со мною случилось
За минувшие несколько лет,
Отчего так душа омрачилась,
Кто убавил в ней ласковый свет...

Этой вежливой жизни изжога,
Выжигая свой жадный узор,
Ничего не жалела живого,
Вынуждая на стыд и позор.

Никогда не быть нам счастливыми,
Никому ждо не княжить в любви –
Ангел жизни губами правдивыми
Осень жизни уже протрубил.

Ветер гонит пьянящие волны, –
Голова полукружится в дым.
Всё быстрее бечева колокольни,
Всё блаженней поёт серафим...

Облака, что столпились у церкви –
Словно девушки в белом цвету,
Лишь скользнёт по ним взгляд офицерский
С сигаретой, цветущей во рту.

По высоким сугробам лабазника
Разливается ласковый свет...
Никакого сегодня нет праздника,
Потому что любви больше нет.

Песенка о подсознании

Какое счастье быть самим тобою
Среди друзей железных и пустых –
Владеть собой, чтоб бровь твою соболью
К чужим бровям с любовью отпустить.

И потакать малейшему движенью,
И ублажать их гибельный разлив,
И жить твоим одним лишь иждивеньем,
Себя к другой с любовью отпустив.

Когда б повесть, что было между мною,
Как я глаза свои слезами поливал,
Твоя душа была мне шёлковой тюрьмою,
Куда я сам себя арестовал.

Кончай печалиться атласными бровями,
Твои глаза уже пушистей хризантем,
Нет, мы не зря их от зимы обороняли
Твоею самою сердечной из систем.

Ах, чернобровое кудрявое создание,
Бог не засчитывает время на любовь –
Мы будем жить как потерявшие сознание,
Но только Богу в этом ты не прекословь.

Пепел

Всё заросло высокою травюю,
Мне не дойти до отчего крыльца,
Зато цветы, что жили под горою,
Теперь стоят у мокрого лица.

Я не один. Нас много во печали.
У всех в лице отцовские черты.
Мы только здесь друг друга повстречали.
Нас привели тяжёлые цветы.

Из тридцати лишь первый задержался,
Мы ждём его и видим сквозь траву:
Вот он упал, вот бережно поднялся,
Вчера лишь год исполнился ему.

Но всё равно – он первый на пороге,
Он нас зовёт в забытый нами дом,
А по дороге тополь одноногий
Идёт за нами плакать под окном.

Лишь мы вошли, как два пятна на стенке
Наполнилися светом золотым:
Портрет отца в заштопанной бессменке
И мама молодая рядом с ним.

На этом месте синяя извѣстка
Вновь превратилась в нежный негатив,
Я видел, как отвѣл глаза мой тѣзка,
Но всё же сел за стол он супротив.

А где малыш? Отцова табуретка
Теперь твоя. Командуй, дорогой.
На этот край – восьмая пятилетка,
А юноши и дети – на другой.

К стеклу прижавшись, тополь многодетный
Смотрел, как в печке новенький огонь
То на колени падал, беззаветный,
То красной гривой встряхивал, как конь.

Что ж мы молчим? Семнадцатый от краю,
Скажи, ведь ты последний уходил...
– Дай мне гармонь, я всё тебе сыграю,
Отцовскую, прости, не сохранил.

А ты? А ты? – Не надо, брат, не надо.
Никто отца и мать не навестил.
Я видел: вдоль реки брела ограда...
Он и её на волю отпустил.

Он замолчал, и в это время сильный
Раздался стук. Печальное окно
Рукою тополь вынул многожильной,
Зажав, как «пусто-пусто» в домино:

– Отец и мать ходили на дорогу,
За край села, за дальнюю межу...
И вместе в один день явились к Богу –
Он их позвал. Пойдёмте, покажу.

Он им сказал: я вам нашёл замену,
Вы сильно износились, сизари,
Два клёна посажу и их как вас одену,
Чтоб дети узнавали издали.

Все встали вон. В поношенной шинели
Шёл тополь впереди, – за стариком
Ограда шла, за ней цветы синели
И братья мои двигались комком.

И сколько ж нас, таких вот опоздавших,
Живых, но как бы без вести пропавших,
Отца и мать на старости продавших
И лишь теперь заплакавших навзрыд, –
Видать душа не вытерпела муки
Беспамятства бессовестной разлуки
И, содрогнувшись, выделила стыд.

И вот теперь в своей прокуратуре,
В своём бессонном пристальном суде
Мы ищем оправдания в диктатуре
Тяжёлой памяти, но нет его нигде.

Тогда зовём к родительскому дому
Всех тех, кем были тридцать лет подряд,
Всё кажется: они нас по-другому
Осудят и к любви приговорят.

И я позвал, но, сколько ни старались,
Друг друга не могли никак понять,
А со стены нам горько улыбались
Отец и мать.

Теперь пора. Дрова почти сгорели.
И день сгорел. Два клёна за селом
Мне встретились и долго вслед смотрели...
Ведь я один сидел за тем столом.

* * *

У меня ничего не готово,
И стихов я почти не писал,
Золотого тяжёлого слова
Я три года уже не сосал.
А вчера чуть совсем не разбился,
С журавлями снижаясь к земле...
Мне сказали, что я изменился,
Что три года я был на войне.
Ладно, ладно, ура.
Но под песни и крики
Никому не сказал, никому не стравил,
Что мне снятся товарищи:
Пётр Великий,
Николай Чудотворец, Святой Михаил.
В нашем чёрном саду
Каждый день помирает садовник,
Но приходит другой,
Как и я, с бесконечной войны –
Золотые слова каждый день он приносит с помоек
Для друзей для своих, для своей
Беззаветной страны.

* * *

Люби тот мир, в котором ты живёшь,
В котором ничего уже не ждёшь,
С заклятым другом празднуешь неволю
И лучшего врага не предаёшь.

Зачем нам вся существенность любви
И острота рассудочной печали,
Коль до сих пор лежат между людьми
Страдания, о которых мы мечтали?

Об этом сетует болезнующий ум,
И в протоплазме тёмного сознания
Пленяет он горчайшую из дум,
Чтоб оправдать своё существованье.

Ужель судьба влечёт меня по кругу...
Но к празднику счастливцев не готов,
Лишь эту жизнь, как первую подругу,
Готов вести по кругу из углов.

Пока душа в исправном состоянии,
Пока стихи не высосали кровь,
Со мной разделят все мои страдания
Надежда, Верка и Любовь.

* * *

Наша юность зацвела в Новосибирске,
Нас повёз вперёд один локомотивъ,
Он на Гоголя жил с мамой по-английски,
И у них там неплохой был коллектив.

Вдруг сверкнуло что-то. Сильно долбануло.
Но не выпало вечернее перо.
Только строчки кое-где перевернуло,
Заголовок оборвало. Оборво

Наша наглухо закрытая поэзия
Жарко молится, да толку ни на грош.
Чтоб светилось её жертвенное лезвие –
Золотую свою голову положь.

Чья любовь и чья вода полуживая
Тело мёртвое по городу влечёт,
И свобода, словно тварь сторожевая,
Ухватилась за бумажное плечо.

На волшебной территории дурдома
Долго будешь нашу землю вспоминать...
В этом месте рифма будет тише грома –
Дураку ведь всё равно, что рифмовать.

Голова моя, разбитая об книжки,
Всех целует – только выйдешь из ворот.
Не берут собаки волка, ребятишки,
Если волк не иванов, а раппопорт.

Кто ответит мне на грустные вопросы,
Кто мне в рот наложит грустные слова,
Что упала в сад кудрявый, лес тверёзый
На две четверти неполная луна?

Чтоб играла чуть живая мандолина
Под окном, где спит задвинутый поэт,
Чтоб стихи во сне прошли, как скарлатина,
Отгоревшая, как яблоневого цвет.

Хорошо, когда на свете нету друга –
Покосились страшной жизни кружева...
Лишь бы ты, моя вечерняя подруга,
С паровозиком на Гоголя жила.

Обские волны

Люблю обилие Оби, давно созревшей для любви:
Не зря она пошла на риск, влюбив в себя Новосибирск!
Уже две свадьбы золотых они сыграли на двоих:
Богданка, Тулка и ОбьГЭС, Затон, Спартак, Цветной проезд,
Автовокзал и Телецентр, и Сибсельмаш – любимец наш,
И Кирзавод, и Снегири гуляли свадьбу до зари!
Прощай, Прощальный магазин, с Бугринкой мы сообразим,
С Сухаркой мы засухарим, с Гусинкой тихо погрустим,
А как приедем в Кудряши, то будем точно – хороши!..
Бурлинка, Чёмы, Мотодром – Новосибирск – наш общий Дом
Надежды, веры и любви на берегах родной Оби
Стоит как гордый обелиск – Н о в о с и б и р с к !

* * *

Вот уж скоро Покров, Николай,
Нам цветов не спасти на поминки,
Ты разведал дорогу на рай
Рядом с той, что вела из глубинки.

Дух теснится, сугубится скорбь,
На широкой печальной равнине
Отгорит поздней осени корь,
А лицо – словно снег на рябине.

Приезжай. Соберём мы собор.
Выше всех мы посадим разлуку,
Пусть она опускает свой взор
Перед дружбой – по левую руку.

Миновалось уж всё, государь,
Гуси серые тянутся сцепом,
Подарила нам жизнь календарь,
На котором нам сорок с прицепом.

На Покров мы цветы расплетём –
Снег пройдёт на погост по тропинке.
Все путём, старый друг, все путём
По дороге на рай из глубинки.

* * *

Любимый город пьян, и сыт, и пьян.
И стыд-головушка, и на́ голову выше
Большой буран по русским деревням,
По деревням, да мы оттуда вышли.

Но как метёт, товарищ Берлиоз,
Как тяжело тому вон экипажу,
Который Пушкина коричневого вёз,
Меня ни разу.

Прости ж меня, святая благодать,
И ты, моя шампанская поэзия –
Готовая смеяться и страдать
Берёзовая в доску полинезия.

* * *

На улице мне встретилаcь @
И пригласила в гости в конуRU.

Гул истории

В Санкт-Ленинград уехавший мой друг
Прислал письмо с железными слезами,
Что он вчера напился, как Ликург,
И ночевал один под образами.

И дальше: с императором Петром
Всю ночь мы подбирали убиенных
Блокадников... Он выдохнул осунувшимся ртом:
С сегодняшнего дня – не брать военнопленных!

Я – к Жукову, а ты ступай бегом
На Воскресенскую, к хирургу Пирогову –
Фашистам отомстим за каждый дом,
Зашьём, залечим раны городу Петрову.

... Потом Нева нам хлынула в лицо,
В ней «умывали руки» наши демократы,
Спеша собча – подлец за подлецом,
И гоготали, как немецкие солдаты.

Мы отдали Пергамский им алтарь,
А Киево-Печерские святыни
По Сотби и по Кристи та же тварь
Пустила в распродажу по полтине.

Фрондёры, диссиденты, либералы –
Пока Россия подымается с колен,
Зализывая ельцинские раны, –
Под грязный «дождь» идут сдаваться в плен.

Нет беса в небесах простому люду,
Что исполняет на земле свой вековой медовый труд,
Пока интеллигенты рекламируют Иуду
И сами превращаются в иуд.

Какое сердце здесь не вострепещет
Средь поношений, травли и досад,
Но русский штык в руках Петровых блещет
В боях за гордый город Ленинград.

Мы всё равно осилим эти муки,
И упраздним врага, и истребим,
А нынешние либеры и суки
Пускай ползут в разгромленный Берлин.

Земля в России любит пить дожди,
И солнечное золото течёт в великорусские равнины,
И на штыках и блещет, и горит,
Стекая в полковые карабины.

Имперской всенародной русской кровью
Омыли мы святой иконостас,
И кто помазан сей Христовою любовью –
Тот Родину не выдаст, не продаст.

... В Санкт-Ленинград уехавший мой друг
Прислал письмо с весёлыми слезами,
Что он вчера напился, как хирург,
А император спал под образами.

* * *

Вот приехала к нам автолавка:
Бунин, ситец, литовки, трусы...
Бабам – праздник: «узять мулине с городскова прилавка»,
А отец покупает настенные с боем и звоном часы.
И в придачу, конечно, дадут нам еще Голсуорси
И подписку на мрачный журнал «Атеист» –
Джон пушай подождёт, пока мы на корову накосим,
А журнал, помолясь, по ночам вся деревня «запоем» читает
И идет на растопку безбожный, но каждый прочитанный лист..
Эх, тряхнём кошельком: в ход пошли утюги, «шестиклинки»,
Портсигары, «москвички», чулки, ридикюли, «Казбек»...
– Дайте ж нам поскорей в 33 оборота пластинки,
А не то не видать нам, в натуре, в деревне свободы,
а также культуры вовек!!!
Что ж, играйте, часы и замок, и пластинки за милую душу:
Под мелодии ваши мы спать уложили с отцом золотую траву,
И под них на коне вороном волочил я весь день волокуши,
А теперь на зеленке по полю ржаному с улыбкой плыву.
Вдоль столбов телеграфных дорога спускается к речке.
Провод порван... Гроза... И из провода Рыбников песню
поёт
Про Заречную улицу, а с нашей Заречной Татьяна навстречу –
Это я для неё на три года часы переставил вперед.
Автолавка к нам снова приедет под самую осень...
Я по новым часам на три года уже повзрослел – не салага.
Вот возьму и куплю я для миссис Татьяны роман Голсуорси,
И начнется у нас на всю жизнь деревенская светлая русская
сага.

* * *

Виктору Сайдакову

К ночи верхом на деревьях с улыбкой проскачут нездешние
всадники.

Видимо, в гривы деревьев вплели они дѣвичий смех.

Голая осень будет смиренно стоять в палисаднике,

Ждать, когда грудь искушает ей юноша-снег.

К ночи хозяйка моя, у которой я, юноша, жил целый год,
постоялец,

Будет ходить по избе, не стесняясь своей наготы.

Если к груди невзначай прикоснусь – у неё на щеках
выступает мгновенный румянец,

А среди зимы к дню рожденья её на окне расцветают
живые цветы.

К ночи прискачет мой клѣн с разноцветной смеющейся
гривой.

Голая осень выйдет меня в палисад провожать.

Я наклонюсь к ней, целуя, пускай она будет
счастливой-счастливой

И каждый год обязательно юношу-всадника ждать.

* * *

Медлительно плывут казанки...
Приют и май на берегу,
Когда звонарь играет склянки
На отуманенном лугу.
Причалим мы. Цветы разбудим.
Досад и лепетов забудем.
В отъезжем поле – миру мир,
Друзья удельные мои
И кони пленные и и
Всё ниже, ниже наши выи,
Лишь сон в пушистой голове,
Что мы остались одне,
Что мы остались одне
Любить огни городовые.

* * *

Небо над улицей Гоголя милое тёмное
десять ведь
Вечер чудесные свечи с вечера вздуты
у гордой Галины
Сессия?
Ой да не сессия
Ну так тогда именины

Мальвы наломаны
Мальвы наломаны
Розданы славные

* * *

*Жанне Зыряновой
Михаилу Степаненко
Евгению Лазарчуку
Анатолию Соколову
Анатолию Садырову
Валерию Малышеву
Ивану Овчинникову
Олегу Садуру
Николаю Шипилову
Владимиру Ярцеву*

Начал синеть овёс,
Стало в душе темно,
Белая роща берёз
Стала моей тюрьмой.

Там, где сгорел снегирь,
Мне тяжело смотреть,
Тихо скользит мизгирь,
Ловит мне сердце в сеть.

Плачь, моё сердце, плачь,
Стало немилостиво всё.
Тихо скользит палач
Там, где снегирь расцвёл.

Где-то в сыром бору
Слышится скрип колёс –
Лошади ржут к добру.
Начал синеть овёс.

* * *

Чей

чей

чей

ЭТО КОНЬ

ЭТО КОНЬ

ЭТОТ КОНЬ

Оторва Оторвался от железного кольца

И летит – грива льётся, как гармонь

Молодого, убитого Германией отца.

Я рвану

ЭТОТ СИТЕЦ

ЭТОТ СИТЕЦ

от плеча –

На которрром цветут русские цветы –

И пойдёт он по кругу сторяча,

Как невест обходя яблонь белые кусты.

Вот уж бабы завыли

завыли

уж сердцу невмочь,

Пляшет с бабами конь вороной вороной –

Всё быстрее и быстрее – уж ничем нельзя

помочь,

Как тогда, перед самую войной.

Плачь, гармонь,
 да плачь, хорошая,
 во все цветы
 навзрыд –
В саду Сталина осыпался на гриву весь ранет.
Сам товарищ Сталин на учёт сейчас закрыт,
А откроют, когда будет мясоед.

Всё пройдет...
 солдатка
 слёзы
 чёрной гривой
 оботрёт
И прибьёт к столбу своё железное венчалное
 кольцо,
Чтобы конь, хрипя, не рвался из распахнутых
 ворот
По дорожке,
 занесённой
 лепестками,
 за отцом

* * *

Посадили меня на цепь,
Отошли на сотню шагов,
Сели в пыль на дорожный шов.

Бродит ястреб поверх тополей,
Молодой, вороной мясоед.
О, кошмарный и быстрый, о нет.

Вдруг раздался свисток соловья,
Он упал, как кусок хрустала,
За пшеничную цепь
Приподнял мою степь
И повлѣк в голубые края.

Там на небе одно есть село.
Не достанет туда жевело.
Как у первых ворот
Меня встретит народ
Целовать мой запекшийся рот.

А когда я разжал кулаки,
Были полными обе руки
Горьких трав земляных,
А из ран пулевых
Я достал двух шмелей полевых.

Васильков синеглазый комок
Взял с ладони, потупившись, Бог,
Был он в первом ряду
И у всех на виду
На пилотке потрогал звезду.

И стоял я, убитый, в степи,
Куда Бог меня сам опустил,
А навстречу уже
Шли ко мне по меже...
...шмель уснул в моём нежном ружье.

В землю Русьскую мой соловей
Всё спешит из небесных полей,
Но тяжёлый, как ртуть,
Воздух бьёт его в грудь,
Помогите ему кто-нибудь...

* * *

Эти брови платком не сотрёшь
И не смоешь водой голубую,
А полюбишь – без них пропадёшь,
А разлюбишь – так станут судьбою.

Эти губы вкуснее воды,
Две припухшие в горе облатки –
У вдовы они как медовы,
Но горчей и родней у солдатки.

Этих синих очей купорос,
Эти волосы, полные ветра,
Этих рук потемневшая горсть,
Вечно полная тёплого света.

Свянет к осени родины лес,
Потекут наши птицы по небу,
Омывая над церковью крест,
Чтоб сиял он Борису и Глебу.

И тогда возле чёрных ворот
На разорванных крыльях шинели
В твоих глаз голубой кислород
Я спущусь, чтобы плакать не смели.

Святое сердце

Блажен, кто вечно во печали,
Блажен, кто с юности работал на Христа,
Кого в несчастьи и в радости встречали
Молитвой тёплой омытые уста.

Кто не любил – тот не был грешен,
Кто заблудился меж берёзовых стволов,
Тот до могилы будет-будет безутешен
Лавиной светлою невысказанных слов.

Круговорот добра в народе,
Любовь на завтрак, ужин и обед –
Чтоб сохранить в изменчивой природе
Из темноты рождающийся свет.

Заря ночная, и дневная, и вечерняя,
Печаль незримая в разлитом свете вод,
Не придавайте вы особого значения,
Что надо мною наклонился небосвод.

**ЮНЫХ
НАДЕЖД
МОИХ
КОНЬ**

«Юных надежд моих конь»

...Вот и конец зиме-зимской. Весь больничный двор заполнен голубым съедобным воздухом, словно его за ночь навозил на гнедой лошадке Нехороший человек – прозванный так старожилками палаты за нерадивость, тупость, жадность, пьянство и лицемерие молодой полутатарин, что развозит по больничным закоулкам казённые харчи и белишко. Тележка поскрипывает, постанывает, среди татарского лица блестит золотой зуб, с морды Гнедухи свисают красные куски капусты – стало быть, на первое нынче борщ. К вечеру, однако, зарядил дождь, и я, притомлённый тазепамом, мягко выплыл в больничный дворик, приблизился к Гнедухе, обнял её за шею.

– А Катя Вандакурова-то умерла, – вздохнула она. – Давай я тебя в деревню отвезу. Ребятишек поглядим: ты своих, я своих... Не поедешь, значит... Ну так отвяжи меня, под навес пойду. Слышь, Сань, а мы б за два дня доехали...

– ...это как ехать, – прорывается сквозь сон одышливый сосед по койке Иван Борисович, разматывая на ночь очередную дорожную историю – У меня вот случай был: гнал машину из Москвы. Выехал на трассу, как дал «Газону» за 90 – слышу, прочихался он и попёр, – только пауты после дождичка от лобового отскакивают. Остановился протереть, а как в кабину залез – их там видимо-невидимо, и давай меня жрать, и, что характерно, даже запахом бензина пренебрегают. Ну, доскакал до Урала, слышу, задний мост заплакал. Что делать: вышел на трассу, а там ведь тогда всего, что душа пожелает валялось, не то что сейчас. И правда: цоп, бутыль при дороге торчмя стоит. Нюхнул – солярка. А, думаю, с автолом смешаю, какая-ни-

какая, а смазка. До Омска дотяну, а там у меня родня, она меня хоть чем с ног до головы обмахнет... Порядок, значит. Однако чую, километров через 500 начало меня клонить, а у меня закон: 500 прошёл – остановись. Хорошо, братцы, когда чаёк есть, а ещё лучше – кофе. Как примешь – глаза как у волка, и – вперёд! А можно и чай. Чай – милое дело. Выйдешь, ревматизм разомнёшь, покуришь – и за баранку. А если ничего нет, так встану среди дороги и, если уж совсем немоготу – как закричу со всей силы!

Однако, не доезжая Омска, сподобился. Зарюхался по самую ось, мать-перемать. Глядь, на моё счастье, мужик верхами с топором. Кобыла под ним пышная, не в пример нашей Гнедухе лазаретной, а сам сухонький и, что характерно, на Косыгина шибает. Нарубили осинок, подгатили, он кобылу в сторону, а сам – за задний борт. И так – минут сорок. Я ему трояк и полуботинки новые московские... Вижу, потемнел Косыгин, обиделся, но от борта не отлипает. И что ты думаешь – выползли ведь. Это он свою фуфайку под колесо стравил. Сидит, из носа кровь каплет.

– Ну, прощай, – говорит, – и не обижайся. Кобыла-то у меня жеребая, на третьем месяце. А третий месяц у баб – самый трудный.

– Так я его знаю, – встречается дядя Паша Жуков, облитерирующий атеросклероз, – у нас в Кружилихе точь-в-точь такой экономический мужик был. И фамилия Косыгин. Ты в каком ездил-то?

– Да где-то в 65-ом.

– А, нет... Нашего-то раньше посадили. А уж лошадей любил, мать моя родная! Однажды поехали с ним в бригаду, где молодняк зимовал. Корму задали, давай вертаться. Смотрим – стая волчья. Стоят, улыбаются. А мы без вин-

товок. Давай креститься: свят, свят, – ушли. А один остался. Отощал, бока ввалились. А нам и охота подойти, и робостно. Коля сбегал в околок, вырубил жердину, и так, на буксире, – на скотный двор. Ребята не верят. А председатель нам по 20 трудодней и овцу. Да на кобеля паёк добавили. И что ты думаешь? В ту же ночь они с нами поквитались: сторож был глухонемой да заснул, а они в кошаре уже штук 50 положили. Кобель пробил стекло грудью – и к сторожу. Тот за топор и давай между овцами кружить. На одного петлю накинул. Потом дня три к лошадям не подходил, отмывался. А вскорости и сам заболел. Цыганкой. Кушать стал безразлично. Рассеянно. Ведро налей – ведро съест, не налей – неделю не спросит. А красивый мужик был. Георгий. Чем-то на Лукьянова похож. Лошади вокруг него так и стояли. Как бабы. На кладбище пришли, а они тут как тут, ищут его, мордами всех расталкивают.

...После войны ребята, которые живые остались – а это ж считанные пальцы, – что ж они на них вытворяли! Бывало, наставят ящиков, в которых зерно возили, яруса в три – и как дадут – как птички! А за ними пацаны деревенские, курвы, уцепятся, словно клещуки, и – через бричку! Да. Раньше, ребята, чудесные кони были, особ перед войной. Военком приедет, бывало, да ещё уполномоченный Савцилло, давай шустрить, выбраковку делать фондовскую. Так дядя Ульянов, председатель наш, все путы под замком держал, – не дай бог увидят, что нога потёрта или ещё чего. А Георгий, что помер-то, страшный лошажник был. И от него жеребчик остался – рыжий впрожелть, с тёмным таким ремнём по хребту. Дядя Коля его в хате запирал и занавески задраивал, хотел на племя оставить, да тут кто-то донёс Савцилле, Косыгина скрутили и в бричку. Тогда

Валя Бунина легла под Савциллу, чтобы дядю Колю спасти, старухи самогону поднесли с дым-травой, да просчитались: он, жеребец, ещё лютее стал – вместе с дядей Колей и председателя увёз на веки вечные, и жеребчика того. Так втроём и сгнули. А сколько лошадушек на войне полегло, от ран скончалось... Наш брат-то хоть застонет, голос подаст, глядишь – в лазарет, чо отрежут, чо пришьют, а коняге бедному – дуло в ухо, глаза в сторону и – всё. И никто про них не вспомнит, ни медали тебе, ни креста, ни памятника. А какие кони были! Я об них до сих пор жалкую.

– А для меня самое страшное, это когда их по городу на машинах везут, – горестно вздыхает сестра Антонина. – Что ж вы, мужики, предатели, закона не добьётесь в ЦК КПСС?

– И в ВЦСПС, – вставляет член большого отраслевого профсоюза, сердечник Веня Родионов, стараясь припарковаться к высокому переднему борту Антонины. – Ну и весна нынче, Антонина Аркадьевна! Прямо щепка на щепку лезет.

– И то правда. Самое время порты спускать. Готовьте седалища, казаки. Уколю.

– Ой, – солидно вскрикивает склонный к гиперболизации желудочник Денисьев, – опять больничий пропи-сали! Вот бы нашенского управляющего сюда, страсть как уколы любил.

– Помер, что ли?

– Да нет. Не успел. Уснул.

– Это как?

– Он два года покрутился у нас, две машины опять же нагрузил, да подался другой колхоз подымать, «Путь к социализму». А у нас был «Путь к коммунизму». А полю-

бовница его, Наташка Белогородова, фельшерица тоисть, не стерпела, ширк на коня, на лошадь Пржевальского, – а она, мужики, только в нашей деревне проживает, малюсенька така, но ходкая, – да во степи догнала дружка своего: «Уезжаете, Алексей Ильич... Без прощаница, без банкета, значит, а мы уже и шеи вымыли, – говорит. – Сколько сейчас время, Алексей Ильич?» – «17.58». – «Значит, через полчаса вы умрёте. Я вам вчерась, любовь моя, на прощание вместо витамина В6 медленный яд кураре ввела...»

– Ну ты и трепло, Денисьев! Проживальский...

– Вот крест свят! Феномен. У нас, в Осокино, не такое бывало. Однажды прибегает в деревню гривач, трёхлетка, в носочках белых, и давай в калитку к Белобородовым тыкаться и ржать. Бабка Зина вышла и упала. На етом жеребчике её Никита ещё в Гражданскую уехал. Я сам с детства с лошадьми, а такого чой-то не упомню. Теперича ещё случай был: прилетает как-то с центральной усадьбы Валера Гатальский, ездил зубы пломбировать. Приезжает оттеля и всю деревню, ёшкин свет, на дыбы поднял: грит, Никита Сергеевич Хрущев из Москвы в нашу деревню выехал, по горсети сказали. А у нас гроза была пожарная, столб свалило. Из города, грит, уже шляпы и костюмы на усадьбу завезли, клуб с мылом моют, с «Кармен», а бабы всю ночь пельмени лепят, да чтоб на хрущевскую голову похожи были, а у нас тут тишь болотная. У Самсонихи синяк под глазом, придётся в погреб, во избежание. Неужель опозоримся?!

Как давай шустрить, всю деревню взбаламутил. Я, грит, лично берусь обучить лошадь Проживальского на колени опускаться и улыбаться. И что ты думаешь, ведь точно обучил!

– Ну трепло, ну трепло!

– А я Кузьмичу верю. Я вот в одной итальянской газете самолично читал, что один итальянец, Перуджино, в цирке на коне по канату ездил. А этот, как его... Калигула, уж на что страшный человек был, а как увидит коня, сразу смиренный становится. Одного Гнедка так полюбил, что даже сделал членом сената, на собрания с ним в сенат ходил. И что характерно, оба, говорят, умерли в один день от разрыва сердца.

– Брось. Кони сердцем не болеют. Спроси хучь у доктора. Рассудите нас, Яков Моисеевич.

– У лошадей, Заварзин, вообще крайне редки сердечные расстройства... Английский врач Лейджон объясняет это следующим образом: лошади не пьют, не курят, придерживаются строго вегетарианской диеты, часто бывают на воздухе, много занимаются полезным физическим трудом. Хотят ли они быть людьми? Я сильно сомневаюсь. А вот у Хлебникова есть поэма о лечении людей глазами животных, особенно коней, которые излучают целебные токи.

– Предлагаю испытать меня на Гнедухе, – зевает Веня Родионов. – А тело потом – в банку со спиртом.

– А у нас старики рассказывали, как начали у мужиков коней отбирать, так матюхинские бабы, а у них семейство было огромное, уполномоченному все руки изгрызли, а Фёдор Андреевич, хозяин-то, под шумок задом-задом да во двор, к вороному, в гриву поплакал, крест ему свой повесил да в собственный колодец-то вниз головой.

– Ну и зачем ты это рассказал? Невпопад. Ну так как насчёт Гнедухи, Яков Моисеевич?

– Завтра, Вениамин, завтра. Распрягайте, хлопцы, коней. Антонина Аркадьевна, гасите свет.

...И сразу же за стеклом, мгновенно изменившись в лице, заметалась рябина, хватаясь ветками за оконную крестовину, заструился кудрявый весенний дождь; тяжело вздыхая и всхрапывая, облитая лунным светом, помолодевшая Гнедуха вытянула шею, вглядываясь туда, где за городской заставой широкая и дружная вешняя вода уже просасывает лёд, где вербы примеряют белые платья, где на пригорках уже готовы вспыхнуть голубые, лазоревые и белорозовые цветы, торопясь на день рождения подснежника.

– Ну что же ты, выходи, – шепчет мне Гнедуха, прижавшись звёздочкой к стеклу, но я, проваливаясь в тяжкую лекарственную истому, почему-то вижу бегущих по деревенской слякоти лошадей в железных туфлях, и свадебных коней с наборной шорной упряжью в четверне, летящих под смех колокольчика и ёканье селезенки мимо двух слепых лошадок, которым городские парни на мотоциклах прошлогодней весной выкололи глаза, и стоящего возле них на коленях с шапкою в руках конского угодника, поэта Николая Шипилова, чьё большое и нежное стихотворение «Юных надежд моих конь» мужики с перекурами грузят на телегу, а затем влекут к московскому тракту, что проходит напрямиком через нашу больничную палату, которая тоже подрагивает, готовая стронуться с места, а в ней, хрипя и постанывая, разметались во сне мужики.

– Сейчас, мужики, сейчас, – шепчу я им, перетаскивая их на телегу.

– Домой мужики, домой, на родину, – шепчу я им, затягивая на своей шее хомут и подпрыгывая к Гнедухе:

– Гайда, милая.

– Гайда, милый.

* * *

Николаю Шпилову

За деревней, в цветах, лебеде и крапиве
Умер конь вороной во цвету, во хмелю, на лугу.
Он хотел отдохнуть, но его всякий раз торопили,
Как торопят меня, а я больше бежать не могу.

От весёлой реки, по траве, из последних силёнок,
Огибая цветы, торопя черноглазую мать,
К вороному коню, задыхаясь, бежит жеребёнок,
Но ему перед батей уже никогда не сплясать.

Председатель вздохнёт, и закроет лиловые очи,
И погладит звезду, и кузнечика с гривы смахнёт,
Похоронит коня, выйдет в сад покурить среди ночи,
А потом до утра своих глаз вороных не сомкнёт.

Затуманится луг. Все товарищи выйдут в ночное,
А во лбу жеребёнка в ту ночь загорится звезда,
И при свете её он увидит вдали городское
Незнакомое поле. Вороного тянуло туда.

За заставой, в цветах, лебеде и крапиве
Умер русский поэт во цвету, во хмелю, на лугу.
Он лежал на траве, и в его разметавшейся гриве
Спал кузнечик ночной, не улегшийся, видно, в строку.

И когда на заре поднимали поэты поэта,
Уронили в цветы небольшую живую тетрадь,
А когда все ушли, из соседнего нежного лета
Прибежал жеребёнок, нагнулся и начал читать.

* * *

Душа ли лепится к зиме,
Все окна снегом забелёны,
Как тяжело не в свой размер
Быть окончательно влюблённым.

Вотще приязнь твою иметь
И знать, что скрыта в ней услуга,
Но устранить её не сметь,
Приявши участь полудруга.

И, погибая всякий раз,
Смотреть сквозь локон, жгущий йодом,
Во глубину любимых глаз,
На дне которых черти с мёдом.

Ну так бери меня, печаль, –
Глубокой радости подруга,
Что хочешь сердцу назначай,
Но отними нас друг у друга.

* * *

Кто сеет смуту и печаль,
Тот вечно будет неприкаян:
Пусть не со зла, пусть невзначай,
Но превратится сердце в камень.

Художник сам себя унизил,
Но сам себя не победил
И лишь в глубокой укоризне
Себе кумира сотворил.

Худой и тихий, как колодец,
Пил вермут – бабье вино,
И от бесчисленных бессонниц
Внутри всё было сожжено.

Теперь он радостный и грозный,
Его картины жгут как йод,
Но этой истине серьёзной
Он сам цены не придаёт.

* * *

Ну, падай, снег.
Твоя монарша власть
Напоминать, что есть на белом свете
Зима, в которой мама родилась
И стала жить в моём автопортрете.

Огонь весны неистово горит.
Вот женщины пришли. Легли в акации.
Одна из них о счастье говорит
Под музыку Российской Федерации.

Встаём!

...Гроза пришла, как и всегда, из [заграницы],
Когда мы шли усталые с заштопанных полей к себе домой –
Пожарища, ракетные зарницы и ливни с водородною водой
Преображали в ярость наши лица!
Мы молнии крестьянской рукой вращали, возвращая
К потомаку. И выдохнул отец: За Родину! В атаку! –
Струя рукой расплавленный свинец: кто напал, тому... конец.
И потому для избранного русского народа
Жизнь не стареет в Дни Победы никогда! –
Россия вышла из огня, где нету брода, глотнуть весны
Живого кислорода... да вот беда: война опять у нашего порога:
Вставай! страна! тревога! брат! тревога!

Трое

Полусвет-полутень на лице, и вообще
Ни горда, ни лукава, не плачется –
В парке снег до колен, ну и пусть по колен,
И по снегу старик чей-то катится.

Самый дальний и тот занесён и болит –
Или как там у нас ещё кличется?
И кронштадтская женщина проговорит:
Погибаете, ваше величество...

Повторяю, что в парке, озябшем до пят,
Отцветает снегирь, обрывается...
Говорят, что какой-то нездешний солдат
Гладит ели и в ноги им валится.

Выхожу и люблю эту синь-высоту
И вечернюю родину дымную,
Наклоняюсь к солдату и говорю:
Ну пойдём, я лицо тебе вымою.

Автобиография

Машины нет.

* * *

Как напал на наш город весёлый отряд,
И командовал им молодой генерал –
Выстрел грянул – из пушки цветы к нам летят:
Он один к одному их в бреду собирал.

Кому алый цветок – тому сердцу покой,
А лазоревый – сердцу отрада.
Много женщин войне были рады такой,
Лишь одна прошептала: не надо.

Он слегка побледнел, и к прицелу прильнул,
И навёл ей на грудь незабудки,
Но она посмотрела – он сладко уснул
И проспал – то ли жизнь, то ли сутки.

Тут бы самое время гордыню смирить
Да пойти в обходные атаки...
Он приказ отдаёт: васильки повторить,
А потом бомбардировать маки.

Ах, цветы полевые – вьюнки, иван-чай,
Колокольчик, анютины глазки,
Отжените от женщины этой печаль
Полным выстрелом счастья и ласки.

Привлекательность губ, и бровей красота,
И тяжёлые карие очи,
Меж двухолмьем горячая нить от креста
Обрывается... Нет больше мочи.

Генерал своё сердце кладёт на лафет.
Пушка вскрикнула. Выстрел раздался.
Говорят, что она улыбнулась в ответ,
А наш город, сдаваясь, смеялся.

Та любовь была словно недолгий угар,
Когда уголь слезами погашен –
Для себя она утром сварила отвар,
Популярный у русских монашек.

* * *

Достаточно достать рукою
До августа
И вот опять
Не понимаю что со мною
И не могу никак понять

Любимая люблю тебя
Хорошая моя родная
Я говорю тебе слова
Ты возвращаешь мне рыдая

* * *

Нет-нет да приснится почти позабытое прошлое:
Вот я часами стою в СССР, чтоб купить колбасы или сыр.
Вспомнится вдруг среди давней усталости чувство хорошее:
Снова затикают вспять на запястье ручные девичьи часы.
...Помню, один подошел, говорит: «Вы какая»?
Я говорю: неплохая. Учусь на вечернем. А вы?
Он улыбнулся: а я прочитал на руке, что Вы 142-я...
И написал у себя на руке, что я буду стоять перед ним.
Я перед ним, улыбаясь, стояла сто сорок вторая
За колбасой по талонам со вкусной фамильей батон.
Нам оставалось всего сорок два человека до рая –
Вдруг по толпе прокатился глухой поджелудочный стон...
Ну, ничего, я рвану в «Океан» за любимым в народе минтаем.
Я ведь с утра записалась на скумбрию, мойву, селедку и хек.
Может быть, встретится здесь, на мою отзываясь
ментальность,
143-й с минтаем под мышкой тот самый родной для меня
человек...

* * *

Вбили гвозди мне в ноги, велели идти,
Приказали за счастьем смотаться.
Ну-ка, сердце, меня на дорогу пусти,
Нам вдвоём до него не добраться.
Наше счастье, товарищ, иль тля, или ржа,
Нас сосут торфяные болота,
Всё равно мы прорвёмся сквозь этот пожар,
Пусть помогут нам слёзы и рвота.
Мы вернёмся туда, где любовь без стыда,
Где в стихах беспредельная воля,
Где родня на погостах лежит по трудам
Под названием русская доля.
Так скажи мне, камрад, да налей виноград,
Неужели и мы на ущербе? –
Ведь не зря торфяные болота горят,
Раскаляя нам звёзды на небе...

Экономно расходуя слёзы,
Доживём мы до самых седин,
Свято помня отрывок из прозы,
Где отцы оттащали берлин.
Нам селёдка была осетрина,
А гармонь заменяла рояль,
Наши девушки в небе сибстрина
Каждый день нарушали мораль.
Но зато подвенечное платье
Двадцать раз брали замуж в году,
И оно раскрывало объятья
Заблудившимся в сладком бреду.

Что ж, пускай мы давились за ситцем,
Добывали свой ливер в бою
И конфетой про озеро Рицу
Угощали подружку свою.
Что ж, пускай мы не стали поэтом,
Не смогли совладать с МГУ, –
Да гори оно розовым светом
На далёком чужом берегу.
...Расцветут на малине конфеты,
Разыграется лебедь во рту –
Он расскажет про жизнь нам про эту,
А мы любим и помним про ту.

* * *

Как-то шел я на станцию Льниха
От Мотково тропинкой сквозь бор.
Филин ухнул... Потом филиниха...
И заухал филинхинский хор.
Обе птицы запели «дуэтом»,
Чередуясь, – друг другу под стать,
Увлечённые сами концертом,
А потом вдруг давай хохотать.

В елово-сосновых сюземах
Так трутся и стонут стволы,
Что просится сердце на землю,
Чтоб биться в объятьях листвы.
А может быть, мне показалось –
Лес в ночь уплывал, как ковчег,
И лесу кукушка призналась,
Что жить ей осталось лишь век.

* * *

Тихо. Всё тихо. Рассвет не идёт.
Кто-то кого-то вполсилы целует,
Словно на губы горячие дует
И, обжигаясь, их пьёт.
Кто ты, зачем ты выводишь коня
И удаляешься,
Снег
Вороня

* * *

Я влюбился в яблоню весною
И повел её жениться в ЗАГС.
Вдруг навстречу вышел с хлебом-солью
Карла Маркс.
– Вот, возьмите от лица имперьялизма
Мою трогательную книжку «Капитал». –
И, трясясь в объятых пароксизма,
Карл заплакал и захохотал.
Мы купили с яблоней газету,
Обернули капитальный том,
Чтоб прочесть с любимой по офсету
Про прибавочную стоимость потом.
Оказалось – между каждыми страницами
Там лежали денег миллион –
Мы тогда заплакали ресницами
И сказали: «Маркс – из сердца – вон!»
Хорошо мы, честно поступили –
Не пропили этот миллион,
Мы на книжку Марксову купили
Молодой, влюбленный в вишню клён.

* * *

в будний день с портретом боженьки
со стихами до колен
все хорошие художники
перейдут в соседний плен

осень
видно
далеко
видно
клён
далёкий
он
уходит
над
рекой
в
обморок
глубокий
где художник да поэт запрягая ветер
возят людям ясный свет
что живёт в портрете

* * *

Ну что ты, товарищ, ну спи на плече,
Где волос, не собранный в узел,
Чернее вот этих чудесных очей,
Живущих в Советском Союзе.

Ну что ты, товарищ, тоска не пройдёт.
Не вешнее лето. Простое.
Вот дождь. Этот дождь постоит и уйдёт
За ваше село золотое.

Ну что ты, товарищ, тоска не пройдёт,
И так же, как в прежние лета,
Зима нападёт и снег упадёт
У серых ворот сельсовета.

* * *

Он вернулся с войны с половиной мужского достоинства,
А жена – его верно и гордо, и чисто, и честно ждала.
Он с обрубком своим, когда горькую выпил, пристроился,
И она ему дочь в ту же ночь родила...
А фашисты во зле ниже пояса воинам целились,
Чтоб иванову роду пришёл непременно капут.
А иваново семя с мариинной плотью повсюду рассеялось,
И живут, слава Богу, их дети – зер гут.
Старший сын, лейтенант, полный срок отслужив в ЗГВ
И оттуда вернувшись, привёз белокурую фрау.
Выше пояса дедова внук, и молчат о минувшей войне
Три иванова ордена Славы.

К

Дотемна на затоне горела вода,
Как сухая душа на ловитве,
Когда может она выносить без стыда
Эту жизнь, позабыв о молитве.

Р

Каждый емлет лишь правды тяжёлый глагол,
Ничего не солжи в искупленье
Своей лавры душевной, где, в сущности, гол.
Пред собой ты упал на колени.

Е

Чей же пепел засыпал нам слёзы и ест –
Вот и лето уже на проходе...
Журавлиная рота, сними с меня крест,
Дай побыть на широкой свободе.

С

В дальних зонах поднесь, где куски воронья
Жрут с креста мою горькую долю,
Если б только была на то воля моя –
Я бы сам преломил эту волю.

Т

Первый снег

Над репродукцией «Охота на техасского оленя»
Бормочет репродуктор – наш певец и агитатор.
Кот Вася Первый дремлет у сестрёнки на коленях,
Подрагивая, словно сепаратор.

Ещё он любит наблюдать, как в маслобойке
Сметану, сливки избивают ни за что...
А пахту, больше валерьяновой настойки,
Он обожает, промурлыкав: «Ну и что...»

На самокрутки под моршанскую махорку
Насквозь прочитана районная газета –
И будет литься через ситцевую шторку
Поток луны дымящегося света.

Отец у печки подшивает дратвой самокатки:
Беги, олень, беги, спасайся от погони,
Ведь завтра в виде снега ожидаются осадки,
И репродуктор выключит луну на небосклоне...

И репродукция прижмётся к репродуктору...
Он к ней потянется двумя большими проводами...
И улыбнется мать отцу очками близорукими:
Кто виноват из нас в техасской этой драме...

* * *

Месяца мая над и над
Ласковый хлебный дождь.
Знаю, что выпивши, на парад
С флагом большим придёшь.

Месяца мая сад и грач.
Пар над землёй. Любовь.
Неторопливо стекает врач
И наклонилась кровь.

Месяца мая на круги
Дождь повалил цветы –
Эти цветы в траву легли
Как с головы бинты.

На ясный огонь

Кто-то в лесу стреляет
Возле родных калин,
А журавли составляют
Самый прощальный клин.

Долго, как в дни Победы,
Смотрит за реку мать...
Жить бы и жить и белой
Людям рукой махать.

* * *

Пал огонь. Зажёг солому. Тихо вспыхнуло село.
Твоих глаз зелёный омут пеплом яблонь замело.

Свечи к ночи притопились. Губы сладки притомились.
Мы всю ночь друг другу снились, а под утро вдруг
простились.

Зря, наверно, мы старались. Наши губы не срослись.
Зря так жадно целовались – от разлуки не спаслись.

Хорошо топить зимою печь твоими письмами.
Пусть горит прямая речь с дорогими мыслями.

Ох ты, ватная подушка и железная кровать, –
Где ж ты, свадебная кружка, – буду слёзы выпивать!

На моём цветастом платье друг твой ягоды сорвал.
Раньше были вы как братья, но один из вас соврал.

Зарастут окошки топодем, утроятся цветы.
Мы остались с горьким опытом: и он, и я, и ты.

Во печали, мой хороший, возжалеешь, будешь жить –
Чтоб хранить огонь в соломе – надо слёзы накопить...

Дед Валера

Умер дед. Семья сидит у тела.
Самый старый дед в селе Мотково,
Самый-самый старый дед Валера
Будет жить на небе голубом.

Дед отцвёл. Про тонкую рябину
Замолчал его аккордеон,
Перед смертью он сходил на почту,
Пацанам раздал аккредитив.

Я-то знал, что деда умирает...
Мы соседи. Через городьбу.
Светлый стал. Глядит невыносимо.
Я сосед его. Колхозный тракторист.

Надо ж быть мальчишкой, кавалером,
Чтоб с такой улыбкой помереть.
Бабы его белым коленкором
Спеленали, будто он родился,
Мужики на белых полотенцах
Отнесли, наверно, в самый рай.

Брат мой, Саша, из пединститута,
Раньше брал у дедушки фольклор,
А теперь сидит, тоскует, курит,
Повторяет: замять... синий цвет...

Так мы дедушку весной и схоронили.
День был sereneкий, но чей-то самолёт
Прозвенел над тополем, заврался...
Видно, лётчик деревенский был и вот
С нашим дедушкой на небе повстречался.

Голодные звёзды

Я многое не помню из того,
Что навсегда душа запечатлила
И вот устроила мне мыслей листогон,
А ночью опечалила чернила.
По карте контурной девичьего лица,
По атласу ланит ночной порою
Я вспоминал тебя, наощупь созерцал
Все принадлежности до родинки над бровью.
Я вспомнил всё: как я тебя забрал
Увозом из кержацкого селенья,
Как на земле зелёной простирал,
И наше первое с тобой землетрясение.
И треугольный угольный утюг,
Который гладил груди твоих платьев –
Взамен моих больших горячих рук –
Я ревновал, как сорок тысяч братьев.
И звёзды, как голодные, смотрели на тебя,
Когда я уходил отстаивать Отчизну –
Я через звёзды целился, чужие истреблял
И каждую считал за падающую гильзу.
Они тебя считали за свою
И поглотить желали за измену:
За то, что ты осталась жить в чужом краю,
Поверив в мою звёздную систему.

Обгоняя дорогу домой

Табун коней везли на запад.
Не довели. Конец войне.
А командир попался храбрый:
Решил вернуть назад коней.
Когда с вагонов выгружали –
Решили дать передохнуть...
Они не пили и не ржали,
А сразу тронулися в путь.
И в поле пыль стоит столбами –
Гадают бабы, не поймут...
Во ржи не видно за хлебами,
Кто там несется?.. Вдруг помнут...
Но вот на мостик вылетают,
И не попив даже воды,
Они летят, и бабы стаей
Летят за ними – во дворы.
А те – в Конюшный переулок,
Туда, где был их конный двор...
А бабы – плачут... бабы курят...
В войну не выжили б без дров...
Эх, мужики, родные, где вы,
Кто будет упряжь снаряжать,
И как родные ваши девы
Без вас детей будут рожать?
Метались лошади и ржали:
Где их конюшни? – не поймут...
В крапиве пута их лежали,
Где начинался долгий путь.
А из полей – на храп и ржанье

Табун подросших жеребят
Бежит к коням на провозанье,
Чтоб к мамке голову прижать.
Серко, гнедко, каурка, рыжик,
Чубарый, чалый, вороной –
Семнадцать вёрст без передышек:
Домой, домой, с войны – домой!
...Сперва – хлеба, солома, силос,
Дрова и корм – перед зимой.
Работы столько накопилось,
Что поневоле станешь злой.
И в план по мясозаготовкам
Коней включали много раз,
Но бабам с острыми литовками
Все эти планы – не указ...

* * *

Гром давно уж гремит, а мы всё не крестились.
И не надо. И пусть. Всё равно не избыть нам страданий и мук.
Лишь бы, мама, твои, как с иконы, печально светились
Темно-синие вены на золоте стареньких рук...
Снова западный ветер гонит тучи на русский восток,
Напускает на наши пределы дурной суховой:
Страшный Суд на картинах, взгляните: правдив и жесток –
Намалеван всегда лишь на з а п а д н ы х стенах церквей.
Это значит: опять нам сражаться, опять подыматься с колен,
Агроматные земли штыками беречь от страданий и мук,
Изгоняя врага на картины, что смотрят в нас с западных стен,
И молиться на золото стареньких маминых рук..

* * *

Между двух январей – грусть утраченных дней,
Пряжа русских стихов бесконечная,
Но летит сквозь снег новогодний век,
И зима, и земля наша вечная.

Мне на окнах зима написала слова,
Чтобы ждал я из леса два дерева:
Одно даст кору, когда я помру,
А другому оплакивать велено.

Не за тот обелиск – будь он ясен и чист,
Что живём однава,
Сочинились слова,
Я за ясный огонь: камбий, луб, заболонь –
Видно, близко мои дерева.

* * *

Лишь обернусь – и в горле ком:
Стоит берёза, чуть жива.
Нацмен выходит на балкон,
Где моя бабушка жила.
Здесь, в этом царстве бересты,
Душа Земли – живёт в России
Средь наших грешных и святых,
Что всех за всё давно простили.
Лишь обернусь – и в горле ком:
Стоит Россия, чуть жива.
Нацмен выходит на балкон,
Где моя бабушка жила.

* * *

Ещё не померкли цветы луговые,
А тополь с женою обнявшись идут,
И лошади бродят вокруг легковые,
Цветы непомеркшие бережно гнут.

Учитель с учителькой едут в тумане
(Крючков – Бархударов да Бойль – Мариотт)
Крючков-Бархударов смеётся на раме,
А крутит педали мсье Мариотт.

А вот показалась большая большая
Корова корова – звезда между рог.
Она наклонилась, телёнку читая
Зелёную книгу, зелёный лужок.

О чём ты так горько задумалось, лето?
Забыло на резкость поставить узор...
Стоит восклицательный флаг сельсовета,
Да школы неполной пронзительный взор

Напомнит, что в этом берёзовом корпусе
Есть время, и место, и род, и падеж –
Где милая мама, как в детстве... не в фокусе...
Даст хлеба два томика – с Пушкиным съешь.

* * *

Кони в воде по колена, черти, шагают по грудь,
Словно сквозь синее сено вечером выбрали путь.

Кудри плывут по дорожке от серебристой луны,
Как середина гармошки свесилась в синие льны.

Девки их в поле встречают, ленты из кос разовьют,
В головы, в гривы вплетают, чудные песни поют.

Только один не даётся, шёлковой грудью храпит,
Мечется, стелется, вьётся меж лошадиных ланит.

То упадёт на колени, то среди серых подруг
Стонет, как лебедь вечерний, в сетях из девичьих рук.

Полно уж гневаться, Сашка. Помнишь, как в масленный день
Вёз нас всю ночь нараспашку через огни деревень.

Во поле мы обвенчались, ты нам глазами светил,
А как перстнями менялись – очи на снег опустил.

Плачь же на тёмной дороге, быстрая девичья грудь,
И выговаривай слоги, те, что уже не вернуть.

Плачь, дуговой колокольчик, ибо на встречном коне
Женщина – нежные очи – предназначалась мне.

Спутник попасть ей не может в губы на быстром ходу,
Я запечатал их ложью, видно себе на беду.

Дайте же мне середину, дайте я встану под кнут,
Чтобы рассёк мою спину нежных волос её жгут.

МЛЕКОПИТАТЕЛЬНИЦА

Млекопитательница

...Едва перевозка ткнулась в припаромок и приехавшие сошли на берег, из толпы вылезлась Анна Демьянова, сорвала косынку и, намотав на кулак, хряско ударила Модеста в переносье. Модест сплюнул под ноги, потянулся за упавшим картузом. Здоровенный обвисший рюкзак его, державшийся на одной лямке, соскользнул с плеча, тяжко прянул наземь. Из-под завязки толчками потекла темная кровь.

– Вона как!.. – прошелестела бабка Агафья. – А рюкзаки... сухие?

– Целлофаном проложены, – пояснил участковый, терпеливо дожидаясь, пока деревенские мужики обмоют Модеста и его напарника – длинноногого жердяя, не успевшего снять рюкзак и оттого раскачивавшегося от ударов из стороны в сторону. Наконец он замертво рухнул в береговую крапиву, придавленный коровьим мясом, озарившим сорочку большими цветами. Собаки, обнюхав забрызганную траву и землю, с виноватым наклоном головы отходили в сторону, мужики аккуратно курили, поглядывая на другой берег, вдоль которого к перевозке бежали зареченские парни с дреколем. Тётя Клава, родная тётка Модеста, черпала калошей воду, лила на его шерстяную грудь, на размолоченный сапогами рот, из которого шла кровавая пена.

– А надо бы на вилы, – вытирая руки об штаны, рассудительно предложил колхозный моралист-моторист-милитарист Илья Мандеев. – Зло не должно торжествовать.

– А на хрена их, собственно, к нам пригнали? Корову-то они завалили зареченскую, пускай их там и линчуют.

– А не в этих ли торбах Василисина тёлка в прошлом годе в город уехала?

– Ага. С демьяновским переярком...

– Да с коровой колхозной, с Ночкой...

– Эка вспомнил! Её же молнией убило.

– Убить-то убило, а рядом ножичек валялся, – опять прошелестела бабка Агафья. – Аль забыли? Самую малость Илья Пророк промазку дал...

Растолкав коровокрадов, милиционеры повлекли их к клубу. Посреди дороги в большой бесплатной пыли лежала пара крутолобых бычков, быстро и почтительно вставших и с какой-то неподвижностью во взоре рассматривавших всю кавалькаду из собак, мальчишек и остальных жителей деревни, посередь которых горбатились под тяжестью парного мяса городские добытки.

Возле клуба стоял председательский «Урал» и милицейский «газик», притартавший из района красномордого поросёнка и молодую тёлочку, которые должны были прохрюкать приговор и вонзить рожки. Всю мелюзгу, в том числе и нас с Коляном, заворачивал с порога завклуб Терещенко – человек с большими шёлковыми глазами и в туфлях на босу ногу, пропивший в прошлом году радиолу «Родина», бархатные занавески, портреты Косыгина и Микояна и ненадёванные сарафаны из художественной самодеятельности.

– А ваша тётя Валя из сельпа с бутылкой шла! Ещё, поди, половина осталась, – иезуитски доложил Колька, и тотчас шёлковые глаза Терещенко наполнились невыразимым страданием, кадык пришёл в движение, ноги бросились из клуба, но тут же замерли перед угрюмо входящими милицейскими сапогами. Со страху за Микояна

и Косыгина Терещенко, улыбаясь половиной лица, обращённой к милиции, стал свирепо выталкивать нас из клуба. На улице, опершись на палочку, стоял участник Гражданской войны Козодоев с белогвардейского цвета козою, которым тётка Дарья Турчанинова, набирая воздуха в двухпудовую грудь, рассказывала, как Колька Воробьёв, вернувшийся из пограничных родов войск и приходящийся якобы племянником ейной золовке, узрел из окна пригородной двух мужиков, таскавших в кучу валежник в глухой лесной балочке, о чём сразу же сообщил проездым милиционерам. Те, значит, к машинисту, да как выскочили на переезде, да с наганами туда, скрутили воруя, да споначалу в район, а уж оттеля к нам – показным, значит, судом судить за все злодеяния. Дарья набрала побольше воздуха и, прожигая взглядом козу и деда, свистящим шёпотом сообщила, что расстрел будет производиться за клубом возле кочегарки в 9 часов с завязанными платком глазами.

Мы с Коляном кинулись домой поесть и, намазав хлеба с маргарином, помчались в тальник за поджигом. Колька так спешил, что едва успел обогнуть новую училку Амалию Григорьевну Лерман, но при этом не заметил чёрную кошку, бабку Волобуеву с пустыми вёдрами и одноглазого чужака, шедшего от тальника к перевозке. Тотчас же за нами увязался одуревший от жары бычок с репейным чубчиком, тащившийся до самого тайника, где, к нашему ужасу, мы увидели огромную жирную свинью, заканчивавшую раскорчевку нашего заветного места. Бычок терпеливо ждал, пока мы отдубасим свинью и, примкнув к ней, понёсся по крапиве... Через полчаса Колька заявил, что поджиг, скорее всего, в животе этой подлой

свиньи и в любую минуту может выстрелить, но когда мы выбрались из тальника, то увидели, что свинья валяется в лопухах, а над ней стоя дремлет глупый чубчик. Подкравшись, мы начали бросать по пузу камешками, но оно не взрывалось, и мы, согнутые горем, поплелись домой за рогатками, причём в первом же проулке я вляпался в коровью лепёшку, а Колька был схвачен матерью и посажен нянчиться с сестрёнкой.

Солнце уже свалилось за сельсоветский тополь. Отвязав Жучку, я пошёл встречать скотину. Едва мы вышли за огороды, как появился тальниковый бычок и как ни в чём не бывало поперся за нами к бродику. Искупавшись, мы легли в траву. Сквозь побуревшие стебли тысячелистника, просевшего под тяжестью наполненного медовым светом шмеля, далеко-далеко я увидел маленького коня и маленькую телегу, на которой беззвучно вёз зелёнку маленький дядя Толя Шилов. Бычок закрыл глаза и стал спать, подёргивая во сне ушками, а я взял соломинку и начал поднимать ему кверху белесоватые реснички, но ему было лень баловаться и он смаргивал соломинку и старательно сжимал и прижмуривал веки, пряча осоловевшие лиловые глазки. По краю поляны от реки пробирался через муравью погружённый в какие-то думы преступного вида сельсоветский кот. Я тоже задремал... и с ещё тёплой, чуть остывшей печки близко-близко увидел лиловые глазки мокрого, дрожащего бычка, только что принесённого батеи из стайки, и фыркающего, как спички, кота Васю, с вытарашенными шарами застывшего выгнуто-вогнутым колесом перед незнакомым господином, который, покачиваясь на мягких расползающихся копытцах, грохался об пол, запутывался в верёвочке

из старых чулок, но уже через минуту поддавал головой, выдувая сопли и засасывая вместе с маминой ладошкой густое молозиво; чуть погодя, оглядев всех бессмысленными правдивыми глазками, начинал прудить – ай-я-яй, жевать и мусолить мамин подол, а она, тревожно оглядываясь на дверь, наспех накидывала на себя шаль с фуфайкой и раз за разом выбегала из тёплой кухни, куда раз за разом входил озабоченно-весёлый отец со старым лоскутным одеялом, из которого торчали мокрые ножки, и опять начиналось всё сначала. Едва мама переступала через порог, бычок куда-то исчезал, а на его место отец тут же приносил другого... Потом откуда ни возьмись появилась пришедшая за парным молоком Амалия Лерман и спросила, за что я люблю Родину. Я ответил, что за то-то и за то-то.

– Надо отвечать полным ответом, – сказала Лерман, и я сказал, что люблю Родину полным ответом за маму, за бабушку, за отца, за корову и за деревню. И какое это счастье родиться в деревне. И жить в ней. И гонять телят на водопой. И пасти цыплят и кричать на коршуна. И смотреть, как ласточка лепит гнездо под крышей, а Вася-кот становится на дежурство, ждёт, варнак, когда малыш вывалится. И как весной коровушка наша выходит из хлева на волю и не успеет ещё воздуха в ноздри набрать, а синички-веснянки уже хозяйничают у неё на спине, терпят-чешут шерстку. И как бабушка Вера вербой провожает её на луга, где уже носятся взапуски ошалевшие от вольного воздуха молодые телята с пробитыми ушами и красными тряпочками. Бабушка строго-настрого наказывает нам с сестрёнкой не скакать и не бить палкой по земле, потому что она сейчас брюхата, скоро травку родит. И вот она рождается и за день поднимается до закладной

жерди в прясле. И от её густоты не видно земли. А землю эту, Амалия Григорьевна, Бог дал бесплатно, вот только покосов не дают, приходится пешкодралом за семь вёрст идти, на лесопосадки, змеиные полосы выкашивать и из каждых пяти копён четыре отдавать в колхоз. Ну да ничего. Бог, Амалия Григорьевна, труды любит.

– А тот, кто всюю жизнь пьёт молоко от чужих коров, тот этого не понимает, – прошелестела вдруг во сне бабка Агафья.

Она строго взглянула на нас обоих, встала на колени лицом к лугу и, перекрестившись большой сырмятной рукой, ласково зашептала:

– Коровушка! Матушка ты наша родимая! Кормилица ненаглядная! Матерь Детства нашего, Млекопитательница! Прости ты нас, Голубушка, за всё, дай деткам молочка!.. Вот такой тебе будет наш полный ответ, Эмалия, – сказала бабка Агафья, вставая с колен. – Приходи ко мне вечером с банкой. Пора скотину встречать...

Тут я проснулся и увидел, что Воронок уже спустился с мостка и теперь с натугой шёл в горку, таща за собой в деревню целый обоз прохладных облаков. С языка сомлевшей Жучки на траву капала светлая слюна, и она время от времени склоняла набок голову, с какой-то вопросительной и быстрой умностью обглядывая то пешеходного жучка, то божью коровку, натолкнувшихся на слюнку. Внезапно она подняла ушки, уловив в бескрайней шелестящей тишине чьи-то шаги, но уже через минуту дружелюбно виляла хвостом, здороваясь со штанами деда Данилы.

– Глядишь, Толян Шилов опять на коровку под задницей возов семь-восемь натаскат, да на Воронка центнеров сорок, да на остатнюю скотину... У меня допрежь две коровки было, да на Семён-день, как поженился, тесть

коня справного привёл. На счастье семейного быта. Да всё по-доброму, всё умственно, с поклонами, с уздечкой через полу, как надоть. Я, значит, на коленях стою, кормлю Игрню пшеницей из рукавицы, а Арина моя у ворот тещу встречает, та ей бурёнушку для внучат ведёт. Порядок, Саня, был. А уж на Власия все бабы, бывалоча, с утра иконы лобызают, тащат в церкву маслица первосвежайшего, выпрашивают у Власия коровьего счастья, чтобы, не приведи Господи, ведьма до смерти не задоила, как у Зинки Маленковой. Опять же суседка ваша, Ермолаиха, баба вроде с толком, да не в то место он ей втолкан: вон её комолая трехлетка валяется, на Егорьев день по росе шастала, ноги-то и сели, опять же бельма пойдут. Худо, брат. Нет уж, пусть уж будет по-старинному, как мать с отцом поставили. Старики, чай, не меньше нашего знали. Чо молчишь? Докладай, как там в Томской земле жизнь идёт? Пошто вернулись?

– Сбежали, дедушка. Комар заел, мошка, гнусь болотная.

– Я твоего батьку досконально знаю: годка через три опять золоту землю искать поедет. А у вас, паря, новая учителька – Эмалия Лермонтова. Мучительница младших классов. Она вышагивает, к Сиксам за молочком пода-лась. У их завсегда... А ты кого встречаешь?

– Коз да Беляну. Отец у Зыряновых купил.

– Дак эта пеструшечная порода ещё от Ехремихи идёт, у ей все тёлки как лоскутно одеяло, – присела передохнуть бабка Дуся Лосева, идущая из забоки с кислицей. – Здоров, что ли, мужики! Кому кости моете? Мне Васятка Усольцев, как его Марья померла, таку же пёстру тёлку стельну продал. К брату в городище подался, в казённый дом. Их там в каждом доме по три деревни натолкано.

– Живой, нет ли?

– Живой, слава богу, как не живой! Федор-то мой надысь его в городе встренул, неделю гужевались. Сторожем работает.

– И чего сторожит?

– Да памятник сторожит. Кирову. А в остатние дни киряет. Начинает в пятницу – белую, во субботу, значит, красную, по 1.62, в воскресенье – пиво по 50 копеек, а утресь в понедельник – газводу по 3 копейки. А бывает, вдруг в баню пойдёт. Но ежли пива там нет, домой с сухим веником вертается. И Никишка «Студабекер» там же, слесарем заделался. Тоже горькую пьёт. Лисандра-то его как камбала об лёд бьётся: и оладьев испечь, и на работу прибечь, дети как бурьян растут. А он как напьётся, какие-то медали точит да сам себя награждает: «За муки», «Ветеран ЛТП», «За победу над Шуркой Лопатовой»... Да ещё таким же алкашам за бутылку точит. Орденоносец... А всё оттого, что скотину не держат.

– Ты это брось, Евдокия! – рассвирепел вдруг дед Данила. – Я деревенских не дам паскудить. Язви вас заberi, чесалки языкастые!

– А Модест?! За три года в городе злодеем стал. На живую скотинку, на кормилицу, топор поднял.

– Эт другое дело. Не садись, блондин, на ворона коня. Не по ему это дело. Вон из клуба повалили. Как думаешь, на поруки или к высшей мере?

– За коровушку – к высшим меркам их всех! Да если б не коровушки, разве ж одолели бы Гитлера-паскудника? А ты, прости Господи, всяку хреноту про блондинов тростишь. С души воротит...

– Ну не дуйсь, Дусь, я за коровушку это ворьё сам бы литовкой порубил. Помню, моя Алёна запряжёт коровку

нашу, Зорьку, в лёгки саночки да через бор, через переезд везёт сыночка нашего с соседскими в сосновскую семилетку за 4 километра... Эх... А ты что, Евдокия, во всё сине обрядилась?

– Дак в забоке мушкары туча, комарья, а на синий цветочек, слышь-ка, ни одна муха не сядет. Василёк всегда чист как слеза. А ну, Алексан, взгляни, не стадо ль гонют?

– Колхозное. Наше с переката тянется. Никак вас кличут, баб Дусь.

– Да это Катька Алексева мужика свово ищет. Да здесь он, Катюха, здесь, с утра ещё в конопле лежит. Угресь схлестнулся с Пронькой, тот ноне при чекушках: бык евонный у Сысоихи корову с тёлкой покрыл да у Дуленкиной калитки намедни землю пластал. Бык, значит, вкалывает, как каторжный, а Пронька его труды на горло переводит. Сёдни кричит твоему: «Да ты знаешь, кто я такой? Я офицер госбезопасности! Я здесь всех давно пасу!» А твой как зачал стихи читать, да как закричит с каким-то воем в голосе, а под конец даже заплакал.

Катерина с хворостиной кинулась в коноплю – А ну вставай, идол! Ты когда своё питьё бросишь! Я тебя вместе с буквами твоими в печке сожгу!

– Замолчь, доярка, дочь доярки! Я есть русский поэт. Бесценный дар природы. А все русские поэты принимают. Для сообразительности. Пушкин так вообще не просыхал. Казимир Лисовский. И ихние бабы хоть бы что! Одна ты у меня такая. Задвинулась в своей молоканке на оброте. Срываешь зло на нашем брате. Пойми, что я тебе не враг. Дай на похмелие трояк.

– Всем давать – не успеешь вставить. Встречай скотину, Пушкин. Казимир. А я в бригаду, мой кумир.

– Надоть всем этим пьяницам на лоб жирный штамп ставить, заверенный собесом, и с этим штампом не пускать в сельпо. А бабам-алкашихам дополнительно ставить фингал под глазом и бить вожами возле райкома партии.

– Задушил алкоголизм весь марксизм и ленинизм.

– Маркс сам – того... Вроде был марксистом, а писал про капитал. Это как?

– Дописались ужо. Денег совсем не плотют. За проезд за лодку вздрючили, за электро три шкуры дерут. Эх, жизнь-злодейка, сплошная телогрейка! Пойду немного утоплюсь аль чуть-чуть повешусь... Никак и вправду коровки наши идут, Евдокия.

Стадо уже поднялось на пригорок и, растекаясь по лугу медленной лавой, пошло к деревне навстречу встречальщикам. Поодаль от всех с хворостиной стояла Модестова тётка Клава, поджидая свою ладную, аккуратную Красулю, на ходу хватавшую луговой донник.

– В бане, что ли, она её с мылом моет? – вздохнула Матрена Истомина.

– Черти её по ночам моют с маргарит-травой, – прошепелестела Агафья. – Знамо дело, кто в нетопленной бане среди ночи барится...

– И что за зверско существо ты воспитала! – накинулся вдруг на бабу Агафью подъехавший Проня-пастух. – Опеть твой козёл над молодёжью измывался, а перед обедом мне в газету катышей навалил, прям на Пленум ЦК! А в прошлый раз весь Президиум обгадил. Ну мыслимое ли дело? Ежели вдругорядь в администрации али в органах узнают...

– Плевала я на твоёную админисрацию и на твои органы. Поболе твоих видали. Нашёл чем бабу пугать... На-

доть скотину пасти, а не валяться под кустом с газетками. Прохиндей...

Проня, не ожидавший такого отпора, крутанул коня и, узрев Кольку, поманул кнутом:

– Скажи батяне, чтоб чекушку готовил... А ты, Александр, беги на Гриву, мамку встречай с покоса, еле ташшится. Холмогорку вашу я сам загоню, тебе с её ухажёром не справиться, – кивнул Проня на громадного быка, неотступно следовавшего за Беляной.

– Саша, Сашенька, что ж ты детушек-то бросил? Покармил ли? – Мама сняла платок и, пока я прилаживал на плечо литовку, отёрла мне пот с лица.

На лугу, куда мы спустились, прямо посреди тропинки лежал утренний береговой бычок, и когда мы обошли его по росе с двух сторон, он остался лежать будто в лодочке, которая с каждым шагом уплывала от нас в туман.

Козы толпились у крыльца, поодаль от Беляны, которая не замычала, как обычно, и не потянулась к маме, а только болезненно переступала и оглядывалась назад, пока мама доила её, а я заравнивал лопатой ямки у наших ворот.

Ночью мне приснилось, что у наших ворот бродит бычок с золотыми рогами, и когда я внезапно проснулся, в комнате было светло от молодого месяца, уставившего свои золотые рожки вверх занавески. От маминых рук пахло молоком. Кончиком платка, в котором она уснула от усталости, я вытер слезинку, стоявшую в уголке её глаза, и едва прикоснулся к подушке, как тотчас же явился золоторогий бычок и стал канючить, чтобы я отвёл его домой. Мы пошли по улице. Бабушка Васёна вынесла корочку хлеба, но взять бычка отказалась:

– Уж больно ноги тяжелы стали, по три пуда каждая, где ж я на него, милоч, сена напасусь...

В соседнем дворе вообще пусто – Вавила Кокорев свою бурёнушку за три литра самогонки продал. Чуть наискосок – в доме у Прони-пастуха – ни одного огонька: спит пастух, спит офицер госбезопасности – где рука, где нога, где буйна голова... Тишина. Слышно только, как в катухе у Гавриила Попова секут соломку овцы, да вот беда – ворота на засове... У Ефима Огнева жена в город убёгла, чужие сковородки лизать, не до бычка ему... Во дворе у бабки Агафьи – корова Милка, козёл Тишка, коза Марта, в доме, под Угодником Николай, спит пёс Ленька, а под гобеленом «Охота на оленей» – котята Манька да Ванька. Перебор... У Никиты Глушакова ограда до краёв заросла без животины гусиной травой, ромашкой:

– У меня, братцы, ни кола, ни двора, ни вола, ни мила живота, ни образа, чтобы помолиться, ни хлеба, чем подавиться, ни ножа, чтоб зарезаться. Ступайте с Богом...

Пошли было к Терещенко, но он, извиваясь меж лунных пятен, робко и застенчиво пёр из клубной кочегарки два полных ведра угля к дому Амалии Лерман. У Амалии сена совсем не оказалось, тётя Клавдия сказала, что уезжает жить в райцентр, а Колькина мать заплакала и сказала, что скоро помрёт и что Кольку с сестрёнкой надо отправить в город к дяде Вите, а коровку она возьмёт с собой в райские кущи.

Так прошли мы по всей деревне, лишь немного постояли у молоканки, прямо от которой начинается на небе Млечный Путь. В конце концов мы опять вернулись домой, и бычок улегся под навесом рядом с большой и тёплой Беляной. Рожки его потухли, исчезли они и над занавеской.

Когда я проснулся, мамы уже не было. Она ушла на покос.

Как заплачу я в синие ленты
Перед группой русских цветов
За деревней, которой уж нету,
Лишь осталась кирпичная кровь.

Вещество моё всё помирает,
Принимая печаль этих мест,
И душа с себя тело снимает
Среди низко опущенных звезд.

Пока льётся из глаз проявитель,
Вижу, как погубили обитель:
Растерзали деревья и доски.
И большие кукушкины слёзки.

* * *

Месяц тихое пламя зажѐг
На картине у Виктора Савина,
И душа, получивши ожог,
Поднялась над землёй и растаяла.

И заплакал тогда человек,
Беззащитный пред этим сиянием,
Он не мог опустить своих век,
Золотое приняв подаяние.

И смотрел он, не веря себе,
На давно позабытое зрелище –
Вновь к нему в акварельной судьбе
Шла прекрасная, глупая женщина.

Всѐ качалось пред ним впереди,
И опять его с ней разлучали
Монотонные дали любви,
Лесотундра стыда и печали.

Но душа, как бессмертная вещь,
Вновь разрезала грудь господину,
И сияли остатки надежд,
Примилившие гнев и гордыню.

И на тихий предел мирозданья
Лейтенант нерастраченных сил
Нам прикажет идти на свиданье,
Лишь бы месяц светил и светил.

* * *

Белым-бело сегодня в НСО,
Снег подвенечный падает, кочует,
И тут же рядом лошади ночуют,
Как девушки, пока не рассвело.

Вся эта жизнь зовётся Боже мой,
И не хочу я больше быть красивым,
Я только буду вас любить, пока живой,
Со всею силой.

По леву руку – левый, нежный снег,
По праву – тёмно-синий, деревенский,
Посередине – торопливый тусклый след –
Ревнивый, задыхающийся, женский.

То сладкая, то горькая любовь,
То глупая, то со звездой, с губами,
С чудесными старинными словами –
То сладкая, то горькая любовь.

* * *

О чём ты плачешь, русская душа, присноцветущая в наследственных уголках,
Попеременно с ландышем дыша живогворящим воздухом Господним?

За той чертой, где праздник нашей жизни ещё сверкает светлою слезой, –
По берегам моей живой отчизны цветы покрыты пеплом и золой.

Вся эта жизнь была почти как свадьба – теперь пора замаливать грехи:
Родной души сорокалетняя усадьба давно уж спущена в уплату за стихи.

Добро ограблено разбойническим делом, в садах российских розги разом
расцвели,
Как будто розы кто-то резко переделал, чтобы Россию до добра не довели.

Так в беззакониях, во мраке и стыде проходят дни и ночи годовые –
Кто брал берлин, кто жёт себя в труде – тех стёрли в прах ботинки молодые.

Дружиться с правдою уж больше мочи нет – пойду на речку, простираю
гимнастёрку,
А вместе с нею мой родной бронжилет – рубаху ситцевую с запахом махорки.

Моя печаль такая, как всегда, – и потому так плотно сжаты губы,
Пускай тяжёлая сибирская вода расскажет вам, как жили однолюбцы.

Помнишь?

Милая, хорошая, не моя – Алёшина.
Милая, желанная, не моя – Иванова.
Милая, красивая, не моя – Васильева.
Милая, родимая, не моя – Вадимова.
Милая, пригожая, не моя – Серёжина.

Милая,
 красивая,
 свеча
 неугасимая,
я погасну –
 ты гори,
 но никому
 не говори:

Милый мой, желанный, не со мной – а с Анной,
Милый мой, чудесный, не со мной – с Олесей,
Милый мой, красивый, не со мной – с Аксиньей,
Милый мой, заветный, не со мной – со Светой,
Милый мой, любимый, не со мной – с Людмилой.

Милый мой,
 красивый,
 огонь
 неугасимый,
я погасну –
 ты гори,
 но никому
 не говори:

...Между нами – только поле, заплела дорогу рожь,
Растоптать – не наша воля, а кругом не обойдёшь...

Цветы запоздалые

Когда-нибудь на склоне лет
Ты мне подаришь слово «нет»
И будешь в том права, царица...
Ужель меж нами воцарится
Старинной дружбы комитет,
Иль у тебя иммунитет?
Тогда быстрее под пистолет, –
Уж лучше сразу застрелиться,
Чем со смирением молиться
На твой смеющийся портрет.

А впрочем – нет: чего бояться,
На Туле будем мы стреляться,
Чур, брови в нитку не сводить!
Твои глаза должны смеяться,
Чтоб мог я пулю уронить.
Ну, а теперь изволь стараться –
Полсердца можешь мне разбить...
Зато вторую половину
Я сам поближе пододвину.
– Не укоряй меня, дружок,
Пока я п

а
д
а
ю
в
с
н
е
ж
о
к

бессонница
бессонница

Зима не цветёт и не плачет,
И няня не любит меня,
Наверно, стреляться назначит
На самый конец января.
Душа моя тёмная светлая,
А завтра при полной луне
Толстовскотургеневской веткой
Приедет сестрёнка ко мне.
Она улыбнётся, и сразу
Уменьшится сердце моё,
Цветы, перегнувшись из вазы,
Обнимут стальное ружьё.
Но в чёрном саду полунощном
В снегу обыватель стоит,
За слабую гору, за рощу
В подзорную руку глядит...
Что ж этому фантику делать?
Пусть двигает время вперёд,
А то, видать, где-то заело:
Не плачет зима, не цветёт.
Лишь изредка звуки вставляя,
Цыгане промчатся в совхоз,
Да пушка гремит вестовая
Средь чёрных и белых берёз.

* * *

Саня пил вино зелёное
С незабудками в руке,
Две берёзы в чёрных платьях
Показались вдалеке.

Господин мужик с гитарой
Поднимался от реки,
Напевая грудью впалой
Одинокие стихи.

У ручья, в траве деревьев,
Мальчик с липовой ногой
Спит лицом на оглавленьи
Нашей книги дорогой.

Через поле маргариток
Все, кого я помянул,
Собралися на молитву,
Да и я не преминул.

Суслик с мокрыми глазами,
Покажи мне со слезами
Позаброшенную флешь...
Вот удача. Рыть не надо.
Здесь пшеничная ограда
Для несбывшихся надежд.

* * *

Гроза миновала. Мы ехали шагом.
Мы плыли по синим цветам.
Ребята, ребята, осталась за флагом
Земля деревенская. Шрам.

У всех нас открылись слёзные токи.
Собаки заныли. Раздался скворец.
А мальчик крестьянский такой одинокий
Стоит на опушке. По ягодам спец.

Иль дроби забыл. Или ищет корову...
– Скажи нам, любезный, Москва далеко?
– Мы ездили с батей вчера чернобровым –
По правде сказать, притомился Серко.

– Просили чего? Или мёду возили?
– Да так. Прогулялись. – Он сплюнул в траву
И долго смотрел, пока слюни скользили,
Потом попрощался и с криком ау.

Какой изумруд нам открылся за бором,
Тетрадка озимых, да горсть тополей,
Да старое синее небо, в котором
Бежит, задыхаясь, упряжка коней.

То едут на казнь молодые поэты
Со всей деревенской земли:
Их кони шальные – в цветы разодеты
И скорость у них – чёрт возьми.

О вы, черноземные летние ночи,
И ты, луговой институт, –
Хлопчатобумажные синие очи
Недолго в деревне цветут.

Чуть свянут – и кони идут на посадку –
Все в лентах и мыле – предел:
На Троицын день разбиваются всмятку
О сладкую грудь ЦДЛ.

Воскресли! Подальше от этого места.
Есенину – первый букет.
Россия была влюблена, как невеста,
В поэта семнадцати лет.

Ему – наши песни и наши тетради –
Крестьянской печали оброк.
Всяк русский, пленённый в чугунной ограде,
Вернётся на волю. Дай срок.

Как душно. Как душно сегодня, ребята.
Ну где же ты, фронт грозовой?
Небесным огнём захолустье объято,
И катится звук грозовой.

Всё ближе, всё ближе гроза обкладная –
Провинции чёрная шаль.
Накрой эту жирную землю, родная,
И жаль её молоньей, жаль!

«Наука и жизнь»

ни одна из моих рябин не приносит мне
счастья
потому что белый конь самый лёгкий
а у котёнка который спит не бывает
зелёных глаз
стало быть поэты понимающие природу
человека умны?
так что вряд ли радуга выдержит вес
тачки
но зато мои счастливые дни всегда бывают
ясными
вот потому-то ни одно письмо начинающееся
словами
дорогой друг
не может уснуть в нашем доме
плывущем по ясному кругу любви

* * *

Дама. Дамка. Сумка. Самка.
Сама снимает угол в замке.
Свечка. Стул. Сухарь. солома.
Дама должна быть дома.

* * *

Господи – люблю тебя.
На корме стою и плачу.
От команды корабля
Почерневший профиль прячу.

Левый борт сорокапушечный
Накренился от любви,
Местный ветер – старый служащий –
Провожает корабли.

Глубока на море синька,
Так и шепчет: будешь мой.
Но летит твоя косынка
Среди чаек за кормой.

Бирюза

Само собою родилось стихотворение
С названием спокойным «Бирюза»
О том, как потерпел я поражение,
Взглянув в невооруженные глаза.
Их склонность к созерцанию предметов,
Таких, как неподвижный солнечный поток,
Чтоб после плакать из очей невыносимо синим светом,
По венам разгоняя кровоток.
...Я знаю, что вернусь, мучимый этим светом,
Иначе – мне не жить, иначе – мне нельзя...
Увижу, что ты спишь под маленьким портретом,
В котором доминируют небесные глаза.

* * *

Этот справочник дорожного безумца,
Ветерана наблюденья за звездой,
Я нашёл в отъезде поле, где пасутся
Кони пленные вечернею порой.

За двухолмием – река и переправа,
Водоскат, и водослив, и водосброс –
Светит нежная, но слабая орава
Древнерусских забинтованных берёз.

И при этом шестиствольном освещении
Прочитал я в бедной книжечке слова,
Что сегодня отмечает день рождения
Полевая справедливая звезда.

Ох, как бьётся моё сердце городское,
И зачем так сладко плачет – вот вопрос?
И зачем вот это поле заливное
Лунным светом заполняет водосброс?

Здравствуй, разница душевного характера,
Здравствуй, светлая душа моей страны,
Выливайся из заоблачного кратера
Наша радость древнерусской глубины.

* * *

Как же так с неба падала вода
Текла редела вода влага
Сквозь огни вижу нежный как всегда
Идёт по полю конь бродяга

Ох какой: по колена ноги стёр
Лицо и торс размыты влагой
На груди (видно ночью где-то спёр)
Шарф из андреевского флага

Серый конь я бы дал тебе ладонь
Да исписались мои руки
А вдали разгорается огонь
Опять на уровне разлуки

* * *

Хорошее слово «струбцина»:
Давай мы друг к другу прильнём!
Оставь нас в покое, кручина,
А то тебя крепко зажмём!
... И мы никогда не забудем,
Как выгнулось время вперёд:
Струбцуйтесь, хорошие люди,
Когда вас судьбина прижмёт.
Луны золотая лучина,
Гори, никогда не сгорай!
[Струбцина]-[струбцина]-[струбцина] –
Нигде никогда не сдавай!

Учебное стихотворение

Отбросив две печали, две фрустрации,
Поглубже заглянув в стекло оконный,
Увидел я, как с побледневшей станции
Взглянули на меня огни вагонный.

Крестьянский поезд плавно приближается,
Цветами полевыми загружается,
Жена, свернувшись, спит в солдатской комнате,
А встанет, пусть заплачет, вы напомните.

Поэт стоглазый, спит твой дом трёхпалубный,
Возьми скорей во сне глагол неправильный,
Пока ты выключаешь свет берёзовый,
Спит девочка с тобой из книги отзывов.

Проснёшься – сразу видишь руки тонкие,
Глагол блестит, вино летит в стаканы звонкие,
Она (пока ты пьёшь помятым хоботом)
Твою картину кормит светлым кобальтом.

Ну что за голова – одни фантазии,
На службу мне пора, а я все лажу,
Придумал про цветы, про книгу отзывов.
А там опять крестьяне грузят озеро в.

О, что я слышу – в нашем доме музыка!
Я б посмотрел, да щелка очень узенька,
Неужто кто приехал в ночь дождливую?
И вот играет музыку счастливую...

Вставай, жена, бери свою гармонику,
А я возьму гитару семижильную,
Давай с тобой сыграем по двухтомнику
Про нашу жизнь с тобою факсимильную.

Наш домик, изготовленный мальчишками,
С кудрявою черёмухой под мышками,
С раздутыми на счастье занавесками, –
Бежит к земле с большими перелесками.

Трёхпалубный, все части деревянные,
Из города сбежал, бежит полянами,
Наверно, пробирается на родину,
А мы ему давай споём Володину.

Гори, гори, грудное сердце русское,
Играй, играй, стихотворенья узкое,
А ты, поэт, завязывай, завязывай
И никому о счастье не рассказывай.

Пристально

Батюшки-светы, сватья Ермиловна,
Осень кидается в речку Сартык.
Кони колхоза имени Кирова
Стиснули конские рты.

Что рассказать? Возле почты – лыва,
В лыве корабль да пух петуха.
Жизнь поутихла, лицо уронила
В согнутый локоть стиха.

На перевозе – гладкие воды,
А на другом берегу,
Как на последней ступеньке природы,
Тополь застыл на бегу.

Что-то уж шибко он нынче кручинится.
В прошлом году по весне
Берег подмыло – я думал, он кинется
К левобережной сосне.

Сердце ль в обмане, иль мнится мне к вечеру,
Будто на том берегу
Кто-то спустился тропинкой заречною,
А различить не могу.

Завтра десятое августа. Осень.
Осень? Да нет же. Да осень же. Да.
Или почудилось вслед
.....и понеже
.....сильно-пресильно
.....всегда

Легкий бег

Владимиру Берязеву, беркуту

На зелёном ветру прочихался мотор,
Разогнался на семьдесят с гаком –
Степь лежит как огромный туркменский ковёр,
На котором танцуют сайгаки.

Унесённые ветром колёса керме́ка,
А точнее – по метру степные шары –
Посадить бы туда золотого, как степь, человека,
Пусть его охраняют в полёте орлы.

Да, в таком аппарате летать – нужно детское сердце:
Так хотелось тогда через марево в даль заглянуть...
Эх, ковыль-колесо, ты для нас – первобытное средство
Кругосветную степь под напев «калмыка» обогнуть.

Тормоза!!! – кричат что-то с дороги хватает,
Унося в поднебесье бежавшую только что жизнь, –
Что ему до неё? – он опять своё небо пластает,
Чтобы знали внизу все: божись – не божись...

Всем ветрам и всем взглядам открытый ландшафт –
Беспредельность степного сознания,
Породившие русский характер и нрав:
Одиночество – стойкость – страдания.

Лугостепье: подзол, солонец, солончак...
Жар небес через молонью павший на травы...
Зыбкий воздух, дрожащий печалью в очах...
Колыханье мгновенно отросшей отавы...

Не поймешь, где находится ветрораздел,
Как плывут под травой чернозёмные волны –
Здесь наш этнос родился, созрел и прозрел,
Навсегда полюбив не свободу, а в о л ю.

Оттого так причудлив наш русский характер
С уникальным умением жить как в степи
И любить ее так же, как мамину скатерть
С вечным хлебом и солью: сынок, потерпи...

«М»

Ах, метро – огромный Дом свиданий:
Перекрёсток тысяч судеб, тысяч встреч –
Тёплый взгляд и поцелуй «за ожидание» –
Их метро для вас старается сберечь.
...По Урицкой, Большевицкой, по Вертковской
Мы идём, внизу проделав сотни миль.
Нас приветствуют Владимир Маяковский,
Блюхер, Красин, Фрунзе, Киров и Джалиль.
Едем к цели, или просто, без программы,
Снова выручит нас метрополитен.
И горит в ночи – родная, как у мамы! –
Дорогая, золотая буква «М».

Лукреция

Дикий случай в деревне Версiлово
До сих пор не забыт на Руси:
Председатель АО изнасиловал
Всю деревню – любого спроси.

Всех опутал, умучил «бумагами» –
Разорил мужиков на корню,
Спирт-ройялем споил – сущей брагою,
Что был сварен в заморском краю.

Содрогнулась бы древняя Греция,
Ужаснулся бы каждый эллин:
Иванова Лукерья – Лукреция
Из забора вдруг вырвала дрын.

– Получай, за дружка свою Эльцына,
За развал Эсесер, изуит!
И не думай, что это – сентенция:
Тебе высшая мера грозит.

Я ведь раньше была звеньевая,
При хорошей лица красоте...
Наши дети, как воронов стая,
Разлетелись страдать в нищете.

Как в войну, при тебе и Борисе-то
Жмых, крапиву едим, лебеду...
Видно, Бога совсем не боишься ты.
Предадим его, люди, суду!

Разопнём на осине предателя:
Грех иудин как раз по нему.

Из своих мужиков председателя
Изберём в ОАО «Путь во мглу».

... Привязали платками, косынками,
А пастух опоясал бичом.
Лишь Лукерьи лицо со слезинками
Осветились печальным лучом.

– Да́, нанёс он нам много урону, –
Кто-то вымолвил тихо, без зла. –
Дайте выпить ему самогону,
А потом уж казните козла...

Трактористы стояли в сторонке
И смотрели не хмурия бровей,
Как его золотые коронки
Бесполезно валялись в траве.

И стояла толпа пред осиною,
Где малиновый глупый пинжак
Был распят средь деревни Версилово,
И никто не сошёл ни на шаг.

Порвала туча чёрное платье,
Пролила свои слёзы на крест,
Где столпились сестры и братья
Из родимых отеческих мест.

А Лукреция лунной дорожкой
После майской полночной грозы
Принесла в узелочке картошки
И с трудом развязала узлы...

* * *

Форточка дышит, и печка гудит,
Русские дети прижались к окошку:
Жучка прогнать со двора норовит
Рыжую лунную кошку.

В печке шипят смоляные сучки,
Кошка несётся меж серыми тучами,
Детское сердце о раму стучит:
Скоро, уж скоро зима неминучая...

С неба посыплются белые пчёлы,
Жёлтые – Божьи угодницы, вроде солдат,
Грешникам, нам, на свечу золоченую
Воск натаскали, умаялись, спят.

Печка влюбилась в картошку в мундирах,
А чугунок уж готов: на рогах...
Детская мама идёт с бригадиром,
Оба – в весёлых смазных сапогах.

Конь сквозь окно поглядит в телевизор –
Диктор со страху погоду соврёт,
Двигается наше село к коммунизму,
Детская мама до дому бредёт.

По огородам не светятся маки,
Дико завьели в оградах собаки,
Стон прокатился от хаты до хаты –
Это в деревню вошли демократы.

Песня для кинофильма

Грустит собака. Грустные глаза.
Зелёные глаза. Над огородами
Подсолнухи потухшие. Роса.
Картошку уже выкопали. Прóдали.

Подруги за плетнями: у да у,
Да лодочница с горькими глазами
Мне встретится на быстром берегу
С большими довоенными слезами.

Грустит собака. Оные глаза
Набухли, растопырились, рехнулись.
Когда с войны вернулся я назад,
Собаки меж собой переглянулись.

Отчаянье

Куда ты, городской огонь,
Плывёшь и с горечью не гаснешь,
И не идёшь ко мне в ладонь.
Куда ты, городской огонь?

Куда ты под Васильев вечер
Запропастился, старый друг?
Твою жену беру за фук.

Но, говорят, ты был в плену:
В цветущем хлебе и во льну,
И воротился во тумане,
А лес системы березняк
(Коль не расстаться вам никак)
Пускай стоит в оконной раме.

Да не грусти ты так, дружок,
Ведь я отдал тебе должок...
А у тебя в лице нет света.
Зато две женщины в саду,
На радость нам иль на беду,
Проговорили до рассвета.

* * *

Листья красные жгут мои руки,
Ветер слёзы мне серые рвёт,
В платьях шёлковых старые суки
Теребят мой измученный рот.

Я всегда был в любви невредимым,
Да, видать, меня Бог наказал –
Вечно плыть в твои нежные с дымом
Голубые гнилые глаза.

Закури и умойся, княжна,
Слышишь, гуси картавят что-то
И об небо, как об наждак,
Заостряются самолёты.

ы
ц
и
т

Олегу Садуру **п** Владимиру Землянову

Щебетанье и трели щегла –
Это он пред своей щеголихой
Щеголяет, как щёголь, себя не щадя:
Заливается щедро и лихо.

Он ей будет шептать, шепетать,
Щебетать щепетильно, щастливо,
А щеглята шалить и нещадно мешать
Спящей женщине рядом с мужчиной.

* * *

Как много канувших с вопросом на лице
Перед высокой вечностью ночною –
Мы все стоим в одном полукольце
Наедине с горящею свечою.

Пусть зыблется тяжёлая вода
И соль течёт по нашим русским скулам.
Кто на земле от счастья не страдал
Перед своим последним перекурор?..

Перед врагом смиренье – смертный грех.
А перед Богом ропот – грех сугубый.
Но эта истина пригодна лишь для тех,
Кто не ласкал предательские губы.

Сей тяжкий грех – лобзание врага,
Что делает из нас нечеловека, –
Пускай с него возьмёт втридорога
Такой, как он, но только не калека.

Кто греется на солнечном луче,
Кто чист перед никольскими морозами,
Тот должен жить прочней и горячей
И целоваться с белыми берёзами.

Сестра надежды – светлая любовь,
Единая в своём произволении,
Возьми мою печаль и обескровь,
А кровь пожертвуй на стихотворение.

Товарняк

Когда цветам кранты –
Поеду в Коченёво,
Поеду в Верх-Тулу,
Поеду в Сталинград,
А сердце защемит,
Так вылезу в Линёво,
Где старенький вокзал
Да тополь-самосад.

Не холодно ещё
Сидеть вблизи чугунок,
Где поезд грузовой
Провозит светлый лес,
Печалиться сильней
И сравнивать рисунки
Ладони и путей
Системы МПС.

Подсядет человек –
Какой-нибудь Валера,
Наверно по нему
Проехал товарняк –
Такое у него
Задумчивое тело,
Но, к счастью, по лицу
Проехал порожняк.

Стакан всегда при нём
Для самовоскресения.
Как хорошо молчать
Среди пустых небес.
Бутылъ из-под вина,
Как госпожа Каренина,
Вся выпита до дна,
Уже летит на рельс.

Валера долго ждёт,
Пока усталый поезд
Обратно провезёт
Такой же светлый лес.
Вздыхнет, и из груди
Печально хлынет повесть,
Как будто перед ним
Открылся переезд.

– Однажды я прочёл
У графа Льва Толстого,
Что счастье тому
Даётся целиком,
Кто служит для других.
(А ехал из Ростова)
Да выпил три 0,5
С одним проводником.

Он мне и говорит:
– Вы врѐте, братцы, оба.
Вся наша жизнь – плацкарт
И лишь в конце – купе,

А тот, кому служил, –
Захлопнет крышку гроба:
Транзитный пассажир...
Что может быть глупей?

Вот если бы в зачёт
При жизни шли услуги,
Тогда бы порадеть
Любому был бы рад:
Я первый положил бы
Голову за други,
Но прежде положи
Мне в лапу миллиард. –

Схватились за грудки
Мы с этим кроманьонцем,
Я честь и славу графа
Толстого поддержал...
В вагонное окно
Два раз садилось солнце,
А он на поле боя
Бездыханный лежал.

Но всё же из скотов
Мы все стремимся в люди –
Я вышел в ту же ночь
В подлунный березняк,
Как будто точно знал,
Что он меня остудит,
Но вдруг в лесной глуши
Увидел товарняк.

На нём цветы цвели,
Он был обвит вьюнками,
Огромная луна
Горела над трубой –
Он мёртвым был давно,
Хотя и под парами,
На тендере сычи
Стонали вразнобой.

Змеиная семья
Опутала кулисы,
И страшен был в ночи
Их мелодичный свист,
По поручням ползли
Чудовищные крысы
Туда, где был распят
На раме машинист.

Рывком раздвинув дверь
У первого вагона,
Отпрянул я назад,
Едва сдержавши крик –
В печали и тоске
Из глубины вагона
С заплаканным лицом
Смотрел в меня двойник.

Какой-то лиходея
И пара проституток,
Одетых в чёрный дым
И рыжее вино,

Снимали с меня крест,
А светлый промежуток,
Где корчилась душа,
Снимали на кино.

И тотчас по стене
Задёргался проектор,
Показывая мне,
Что жизнь моя – дерьмо.
И брызгая слюной,
С горбатым носом лектор
Озвучивал меня
Сквозь грязное бельмо:

– Се – русская душа.
Прокля́тая черница –
Вместилище добра,
Обитель красоты,
В смиренности и любви –
Христова ученица.
Пока она жива –
Мы будем у черты.

О, если б было лъзя
Прельстить её к измене,
Гордыню распалить,
А нет – так на правёж!
Кто служит для других –
С того взывайте пени:
Рассудка золотник
Да сердца ржавый грош.

Какая благодать
Сожрать простолюдина,
Который повернул
На жёлтый огонёк,
И в самый мозг шептать:
«Налево – палестина,
А душу нам оставь
В проценты под залог».

Наш адский товарняк
Загружен до предела –
Так рвите ж на куски
Последний экземпляр!
Ростовский проводник
Прислал нам это тело,
В нём – русская душа –
Любимый наш товар. –

Я бросился бежать,
Расталкивая нечисть,
За мною по пятам
Летел локомотив,
Но рыжий березняк
Уже бежал навстречу
И с ходу меня взял
В свой нежный коллектив.

Весь в дьявольских огнях,
Состав промчался мимо.
Да я и сам в огне
Метался и дрожал...

...Нет слаще ничего
Махорочного дыма,
Когда твоя душа
Обращена в пожар.

Моя штрафная жизнь
Пошла перед глазами:
Я многое любил,
Да, видно, всё не в цвет –
Гордыня не дала
Упасть пред образами,
А с тех, кому служил,
Стал взysкивать процент.

Попалась на пути
Мне женщина с ребёнком,
Как будто в грудь вошла
Щемящая волна,
Как раньше, когда был
Во флоте боцманёнком,
Но нас с ней развела
Печали глубина.

Я бросился к другим
С прощённым поцелуем,
Всем руку подавал,
Как в праздник годовой,
Но жёлтые огни,
Увиденные все
Сквозь дым товарняка, –
Владели головой.

...Так дни наши текут,
А жизнь стоит на месте,
Цветами дол пестрит
Всё реже, но любей –
Двумужняя жена
Глядит в глаза невесте,
Что стала для меня
Красивее людей.

А через пару лет
Уже в угрюмом платье
Придёт она встречать
Вечерний товарняк
И чёрный проводник
Возьмёт её в объятия,
А через пару лет
С ней будет жить сквозняк.

А впрочем, милый мой,
Мы все сидим в вагоне,
Но если попадёшь
В отдельное купе,
То выгляни в окно –
Увидишь: на перроне
Несут твою любовь
Из-под колёс в толпе.

Да не смотри ты так
Своими васильками!
Неужто записал
Меня в проводники?

Да я б всю жизнь ходил
На воле с ямщиками,
А эти – в поездах –
Как в банке пауки.

Минуется напасть,
Найдутся одноверцы,
Ведь русская душа
Не может без любви.
Но отчего, скажи,
Так горько плачет сердце,
Когда в конце концов
Становимся людьми? –

Валера закурил.
Садовая синичка
Гуляла между шпал,
Выискивая кровь...
– Чу – поезд грузовой?
– Да нет, брат, электричка.
Ты едешь? Ну прощай.
Любви не прекословь...

Вот тронулся вагон,
Земля пошла рывками,
Потом её сменил
Щемящий березняк,
Потом в окне стонал,
Обвешанный вьюнками,
По встречной полосе
Тяжёлый товарняк...

Приеду я домой –
Окно горит в калине.
Плакучая вода
Омоет палисад,
В котором будут жить
От веку и донине
Нездешние цветы
Да тополь-самосад.

* * *

Юрию Гурову

Вот и снова сентябрь... Вижу – мальчик сошёл с электрички.
Повзрослел. Волос рус. И на мир исподлобья глядит.
Это, видимо, я – из деревни бреду к перекличке.
И у нас на щеках красный мак ожидания и гнева горит.
Он идёт как слепой... Я не вижу ближайшего клёна...
Одноклассники стайкой цветами пестрят у крыльца.
Расступились вдруг все. И исчезли. Стоит лишь Алёна
С запывавшим мгновенно букетом родного лица.
Мальчик молча стоит... Я пока что ещё не рыдаю...
Закурить!!! Но звонок... Её парта смеётся в 4-ом ряду –
Это значит – нам вместе идти километрами между рядами,
Лишь бы только не сесть с ней за парту одну.
И я знаю, что в лето Господнее благодати в месяце августе
(Прочитал по глазам): это с нею случилось на Яблочный Спас –
Сорвала она плод и навеки лишила нас медленной радости –
Поступила за лето в 10-й, а я – в 1-й класс.

Ночная тетрадь

Снилось мне, будто я, когда жизнь опустела,
В старый дом неприметный по лестнице тихой вошёл,
Дверь сама отворилась, приняв моё нежное тело,
А потом кто-то в сердце ударил ножом.
«Ладно, – думаю я, перед тем, как совсем захлебнуться, –
Посмотрю на него, на его бессердечный клинок».
Вижу: старый портрет от меня не успел отвернуться.
У него из груди вытекает такой же цветок.
В тот же миг он шагнул, акварельный пиджак обливая
Быстрой красной струёй, – перепутались наши цветы...
– Слава богу, – сказал он, – я думал, что рама малая.
Полезай, дорогой. Я пошёл. Повиси теперь ты. –
И когда он исчез, растворился в тяжёлых каштанах,
Появилась моя терпеливая в горе любовь,
Подошла, залепила мне нежною охрою рану,
Собрала на полу неподвижную голую кровь.
А под вечер вернулся угрюмый, но страшно весёлый
Тот, что раньше висел здесь, но только облитый дождём,
Сел напротив меня и с улыбкой, что водятся в сёлах,
Стал кленовую палочку чистить стальным тонкогубым ножом.
Этой палочкой он размешал вермильон и берлинку,
Изумрудную зелень, белила, краплак, киноварь...
И, приблизивши кисть, вдруг убрал мне из глаз золотинку,
А взамен положил в них чужой близорукий янтарь.
Но уже на окно ночь повесила чёрные шторы
И обстала того, кто украл у меня пол-лица,
И тогда я вернул ему все его грустные взоры,
Потому что узнал в нём забытого мною отца.
Я его рисовал в полудетстве с семейного фото,
Чтоб не видела мама, – впивался в лицо карандаш...

Он был тоже художник: скопилась в глазах позолота,
А когда он нас бросил – лишь чёрная тушь да гуашь.
Был дружок у меня под названием нож перочинный,
И однажды, когда я услышал, как за полночь плакала мать,
Мы вдвоём с ним решили зарезать по этой причине
Тот отцовский портрет, из которого он собирался удрать.
Мама утром пыталась заклеить любезным «бээфом»
Те клочки, где смеялись его молодые глаза,
Но клочков не хватало, и вот над ослепшим портретом
Наклонилась она, как над садом сухая гроза...
Что вы так на меня удивлённо и дико глядите?
Сами, что ли, мальчишками не были, что ли забыли уже,
Как сжимается сердце, когда половинка родителей
Исчезает из детства и тает, и тает во лже?
И во сне я мечусь: ох, как батя свечу зажигает,
И в очнувшейся комнате вижу, как он обнимает портрет,
На котором я маленький детские губы сжимаю,
Чтобы был, как у мамы, прикушенный в кровь трафарет.
Стало быть, на закате бегущего к осени лета,
Милый мой, ты решил наложить на живое лицо акварель,
Чтобы не было в нём материнского тёплого света,
А бежал по лицу бесконечный умелый кобель?
... Открывается дверь. Десять тысяч друзей и поэтов,
Кто живою водой, кто железом и бархатом рук,
Вынимают меня из двойного ночного портрета,
Когда в тёмную дверь раздаётся мой утренний стук.

* * *

Нам этот стыд запишут в минуса.
Туши огонь. Пусть тело телу служит.
Пусть наша дружба горечь обнаружит.
Пусть наша дружба горечь обнаружит.

Я просто говорю, что сердцу стало больно.
Вот развязался узел твоих любимых рук.
В саду вишнёвом спит пустая колокольня.
Когда умру – товарищи засунут под траву.

Мы не поэт. Дверь скрипнет. Ветер вскрикнет.
Рука вино в стаканы выгнет.

* * *

Синяя вода, русская река
Катится далёко... красиво...
Это так всегда: мамина рука
Гладит постаревшего сына.

Я и не стыжусь. Что моя слеза? –
Скатится. Не будет. Не станет.
В маминых глазах мокрая слеза
Стынет. Существует. Не тает.

Мне бы застонать. Просто застонать:
Что же это – что же такое?
Жить и помирать. И не понимать
Чьё это лицо золотое...

1967

* * *

Господи, да отчего же грустно-то так?
Вот осока, вот гречиха, вот вам лебеди,
Чьё-то платье на рябиновых кустах,
По которому рябины те и бредили.

Вы простите. Вы здесь не были.
Не знаете.
Я прощу вас. Всё. Простил. Крещу рукой.
Вот опять вы платье красное срезаете.
Вот опять берёте лебеда рукой.

В горбольнице на сестре под халатом
То же платье, только выцвел узор.
Видно, я не ту рябину сосватал –
Перед этой опускаю свой взор.

Non-stop!

Неважно: вольно иль невольно –
Не троньте русских – будет больно!

* * *

Полночный эльф летит над Сибревкомом,
Чуть шевеля злачёные крыла,
С каким-то чувством, раньше не знакомым,
Он озирает милые края.

Взращённый в забугринской эльфинаде,
Обласканный обскою широтой,
Как часто он топил печаль в отраде,
Найдя глазами купол золотой.

Безмерность бытия в разрозненном пространстве,
Немилосердный гнёт прогнувшихся небес
В том месте, где цветёт в высоком постоянстве
Единственный на всю округу крест.

Но в лунном свете – косвенном и блеклом –
Его манил, затягивая вниз,
Сияющего Красного проспекта
Большой лентопротяжный механизм.

И воздух перед эльфом расступился,
Но ликовала маленькая грудь –
Что если он сегодня и разбился,
Всё ж до Оби сумел он дотянуть.

* * *

О, не смей, сыромятное сердце,
Так сжиматься от смертной тоски –
В том окне, где состарилось детство –
Буква х в две сосновых доски.

...Уж не выйдет Демидыч, не встретит вас ласковым словом,
Не сыграет на хромке, не выпьет треклятой стакан,
А потом, своей Марьей до дому на ручках несомый,
Не застонет, сердечный, от курских и краковских ран.

Сколько кружев с морозных окошек
Успевала связать к Рождеству,
А теперь вот, такая хорошая,
На работу ушла ко Христу.

Вместо слёз вытирая снежинки,
Он прижался виском к косяку...
Птицы чёрные, словно косынки,
Всё летели на грудь старику.

Ещё крепче вцепившись в работу
Чёрно-синими венами рук,
Он забыл, что он есть, но что кто-то
Ходит к месту последних разлук.

Весь облит водяными частицами,
Шёл, обнявшись, в поля с Воронком,
Задушевное дерево с птицами
Пробегало вдали босиком.

Я молчу. Потому что не знаю,
Как старик истончился на нет.
Я курю. Я опять вспоминаю
Деревенский немеркнувший свет.

...Что ж опять ты, сыночек, не спишь, моё милое золотце? –
Мама гладит меня позолоченной в долгой работе рукой,
Ангел сна, позабыв обо мне, на ладонь её светлую молится,
Омываемый льющей в тёмную комнату лунной рекой.

...Там, где солнце садится в телегу,
Повалюсь в голубую траву
И засну под берёзовым снегом
В незасыпанном полностью рву.

Живой лес

Мы поехали с отцом за осинником.
Конь стоял. Проползала змея.
Я рубил. Они падали сильные бессильно.
Проклиная мой мой топор и меня.

А отец мой с тоской деревенскою
Сухостой на телегу грузил.
Свою руку, разбитую немцами,
Положил: Александр, руби.

* * *

Голову на плаху, сердце на алтарь –
Со всего размаху, как когда-то встарь.

Верная, красивая, сильная любовь,
На алтарь, на плаху меня приуготовь.

Скоро снег распустится на тысячу вод –
Помолиться в церковь мой палач пойдёт.

В подзакатный вечер в день успенья зимы
Будет чист и светел образ русской земли.

Прорубь потемнеет от вешней воды,
Только в одну сторону ведут к ней следы.

* * *

Мёд последней печальной любви
С позаброшенной кем-то поляны –
Хоть теперь все цветы оборви –
Мы друг другом останемся пьяны.

Все дороги плывут по земле,
Все пути преисполнены счастьем,
Знаю – ты предназначена мне –
Для души золотые запчасти.

Божья церковь вся в белом цвету,
Соловей замолкает, как пленный,
Словно вдруг услышал на лету:
Ну, прощай. Не здоровайся первым.

* * *

Брат мой, за что ты меня распинаешь,
Что ты мне очи так долго и жадно гневишь,
В чём ты меня, словно ветер ореховый куст, обвиняешь,
Лаешь пред небом, на людях упорно коришь?

Знай, у убогого нет больше русского логова,
Есть только право с тобою крестами сменяться,
Только одно я скажу тебе, брат, из хорошего многого:
Я и в раю зарыдаю – в аду ты мне будешь смеяться.

Не посраим, крестовой, до конца упования нашего:
Брат же от брата трудом укрепляемый – станет кремён!
Не отвержи же меня ты на старости, самого младшего
Из золотых наших русских родных деревень.

Так побожимся с тобою при светлом, как вечер, рассудке:
Сердце близ сердца должно быть украшено маслом стыда.
Наша дорога к друг другу – всего лишь на две самокрутки,
И прикурить – полевая звезда.

* * *

Всё в мире пепел, всё свет, всё тень – всё только лепет, всё леть, всё
всклень, да лишь бы правда бы цвету настойкой девушек да на спирту.

Дыра опять никак не пришивается,
Лесник принять букет не соглашается,
Любовь любой ценой не приживается,
Невеста в моё сердце не вмещается.

Ну, хорошо, ты говоришь – есть весть, что вместо лести всем будет месть,
да лишь бы правда в алчбе с судьбой не опоили нас сон-травой.

Недолго спал, да много в жизни видел я,
Меня страна ни разу не обидела.
Я тихо жил, как каменная ласточка,
На синем небе серая заплаточка.

Всё в мире пепел, всё земля, всё прель – лишь прах и трепет, лишь тлен,
скудель, да лишь бы правда с судьбой в ладу нас не застигли в земном саду.

Твои глаза как небо тёмной осенью –
Ни разу не цвели, не плодоносили.
Прости меня, люби меня, встречай
С отчётливой надеждой на печаль.

* * *

Заплакал колокол села, в котором вы не дышите.
Я спать не сплю. Дела мои плохи.
Колокола заплакавшие вышибли
Из памяти печальные стихи.

Больной старик приходит. Пьёт поллитры.
Котята спят комками на полу.
Они как перепутанные титры
К бегущему по берегу селу.

– Ну где же ты теперь, моя отрада,
Ну где же ты, остуда и охлада?
– Да вот гоню я к речке яблонь стадо
Губернского задумчивого сада.

Как пыльный столб за ними я поплыл,
Смеша детей и стариков заречных,
Но в колокол ударили попы,
Качнув цветы на платье подвенечном.

– Не наша свадьба, – ты сказала мне. –
И колокол обильный ты не слушай.
– Не наша свадьба, – я сказал тебе, –
Возьми цветы. Они твои. Покушай. –

Неутомимо нажимая воздух,
Нас обогнал, как юноша, старик.
Он белый сад повёл с собою в воду,
Чтоб нам вдвоём оставить материк.

Но где был месяц: в небе иль в реке,
Когда земля качнулась под ногами...
Заплакал колокол на русском языке
О том, что было только между нами.

ТИШИНА

Тишина

Не приведи Господи, если среди ночи заболит вдруг душа, запечалится, закручинится, затоскует и, как осенний лист, понуждаемый ветром воспоминаний, начнёт кружиться среди прожитых лет, и не уснуть тогда до самой утренней зари...

Егор вышел на крыльцо, стоящее на коленях перед одинокой рябиной, и ему показалось, что этой весной она отошла ещё на несколько шагов от его дома к тропинке, по которой он привёл когда-то Марию.

Он взял вёдра, спустился с крыльца и, обжигая ноги росой, пошёл по тропинке к реке, что лежала в забытьи широкого луга, и навстречу ему из светлой майской тьмы выступил темноглазый сельсовет, отгороженный штакетником от остальной печальной земли, над которой плавали в тумане вольные кони. У самой воды туман расслаивался на тонкие быстробегущие полосы, сквозь которые проблескивали дрожащие камышинки, а возле берега, уткнувшись в сырой галечник, спала старая плоскодонка.

...Егор закурил и пошёл вдоль берега, ища место, где можно было бы зачерпнуть вёдра, не заходя в воду, над которой, разгоняя остатки тумана, словно быстрые детские души, скользили ласточки.

На другой стороне реки прозвякнула калитка, пропикало радио, и фальшивый московский голос начал рассказывать Егору, что труженики Ставрополя разместили пропашные и зернобобовые культуры на площади девятьсот тысяч гектаров. Потом диктор сделал паузу, словно проверяя, слушает его Егор или нет, и стал растолковы-

вать ему социалистические обязательства криворожских сталеваров, решивших выплавить всю сталь и отдать её Родине на полгода раньше, чем надо.

Егор матюгнулся и опять закурил, глядя, как восходящее над деревней солнце весело и равномерно размещает свои лучи по всей цветущей земле, окрашивая летучие облака в разные тона, от палевого до нежно-розового, а над избой старой грешницы, ветерана самогонарения Матрёны Одинцовой, словно привязанное к трубе, висело атмосферное явление, по форме и цвету напоминающее разлитую бражку. Егор понимающе усмехнулся и уже хотел было, держась за тальничину, зачерпнуть воды, как вдруг увидел за кустом в нескольких шагах от себя Григория Сикорского – мягкоглазого сухожильного старца, тихо сидевшего в одиночестве на принесённой вешней водой коряге.

– Вот те на, а я-то думал, один ночку сторожу... Это как же понимать, Григорий Алексеевич, – топиться, что ли, спозаранку пришёл?.. Тебе вроде по вере не положено.

– А откуда ты мою веру, господин хороший, знаешь?

Егор усмехнулся:

– А я оттуда её знаю, божий человек, что в жизни всякого навидался, и наперёд теперь скажу: кто истинно верует, тот не о спасении своём думает, а наврode тебя с ума сходит оттого, что ваша ласковая вера – та же самая тюрьма для души. Только с занавесками. Да и много ль ты своей верой добился?

– Я-то?

– Ты-то.

– А в мово двора нема ні кола,
Тільки стоїть кущ калины,

Та й та не цвіла.
Калино моя, чом ти не цвіла?
– Зима люта – та й цвіты оббила,
Тим я не цвіла...

Егор хмуро осмотрел старца, словно только сейчас заметил в нём что-то необычное:

– Да ты никак пьян, батюшка, поди, наливочку вчерась кушал. И видать, зело сподобился, эвон нос-то, как лист рябиновый, горит.

– Каюсь и скорблю, Егор Сергеевич, – вошел вечер во искушение, аки пёс смердящий, оттого и молюсь спозаранку...

– Давай, отче, давай. Не забудь кадык перекрестить. Кто у вас по этому делу специалист?

– По какому делу?

– Ну, по бухалову.

– А... Святой Вонифатий...

– Любо мне, как у вас всё ловко устроено: на каждый случай заступник есть, знай себе – греши да кайся, кайся да греши. А между тем поглянь, Григорий Алексеевич, сколько подлых людишек живут припеваючи, здоровьем пышут: возьми нашего управляющего – бугая племенного – на нём всю комаровскую пустошь распахать можно, а хорошие мужики, навроде Алексея Трошина, под землёй без солнышка лежат... Нет, владыко, тут что-то не так... Что-то тут не так, дорогой мой...

– А ты сам-то, Егор, чего не спишь, ходишь, как шагун?

– Душа болит.

Отец Григорий наклонил ведро, выпустил на волю заплутавшего муравья, внимательно посмотрел на Егора:

– Покаяться надо бы, облегчить душу-то...

– Покаяться?.. Это перед кем и в чём? Не перед тобой ли? Ты что же думаешь: в тебе душа, а во мне – балалайка?

– Эх, Егор, Егор, гореть тебе неминуемо в аду.

– Ну, чудак-человек, да ведь я уже бывал в тех местах: и горел, и подгорал, и плавился. В аду всем тепло, а придёшь в рай – там дрова давай... – Егор резко придвинулся к старику и, глядя в его морщинистые слабокарие глаза, сказал, улыбнувшись: – А ведь я, отче, не раз о тебе подумал. Там, вдали, как-то особенно горько от мысли, что вот тебя убьёт и при этом не будет рядом никого из близких, кому бы ты мог отдать последний вздох, покаяться напослед... Иногда, бывало, закроешь глаза – отыщешь в памяти чьё-нибудь деревенское лицо, потом другое, третье, ещё и ещё... всех переберёшь, пересчитаешь, как скряга, до последних малых ребят и стариков, даже тех, кто помер давно, даже иконы из твоей горемычной церкви, – до мельчайших подробностей и морщинок... помнишь ту, что висела в приделе, ещё на Дарью Михайлову похожа?..

– Помню, Егор, как не помнить, живьём сгорела наша «Дарья». Одного, брат, не пойму: вот ты меня сейчас лял, а сам крест-то свой похерил.

– С чего ты взял?

– Как с чего? Креста-то на тебе нет.

Егор вдруг замер, опустив голову, словно не решаясь взглянуть в ясные, спокойные стариковские глаза, потом невесело усмехнулся чему-то и, расстегнув рубаху, тихо сказал:

– Неужто его нет, отец?

Отец Григорий перекрестился и осторожно дотронулся до крестообразной вмятины в левой части грудины.

– Здесь он, Григорий Алексеевич, завсегда при мне.
– Егор скомкал пустую пачку, с досадой бросил в чёрную кружевину потухшего рыбацкого костра.

Он тяжело поднялся, спустился к воде и с удивлением увидел деревенскую церковь, построенную на песке из ивовых прутьев, рядом с которой в сосредоточенной задумчивости, точно богомолец, размышляющий о бренности жизни, стоял аккуратный лакированный жук, время от времени с большим достоинством поглядывавший в сторону муравьёв – этих бедных прихожан, так похожих в своей безостановочной земляной работе на русских крестьян.

Егор обернулся к отцу Григорию, тихонько позвал:

– Слышь, Алексеич, тут к тебе раб Божий с утра пораньше исповедаться пришёл.

– Кто таков?.. А... старый знакомый! Сей суровый господин, Егор Сергеевич, ещё вчера вокруг моей стройки прохаживался.

– Вот я и говорю: важная персона. Видать, из народного контроля. Счас в Москву полетит докладывать. Хреновые твои дела, Алексеич, опять церкву прикроют, а жаль: славно ты её изобразил – копия нашенской. Неужто и вправду ладишься отстроить?

Отец Григорий коротко кивнул:

– Я и на твой топор надеюсь, Егор Сергеевич. Знаю, как ты к дереву льнёшь. Да и мужики за тобой на доброе дело потянутся.

Егор подсел поближе, приобнял старика за плюшевые плечи:

– Господи владыка, твоя рука велика, а моя хоть и боле, да нет ей воли. Ежели хочешь – бери мои руки, а на душу не рассчитывай: видать, отлучилась она из тёмной груди, вытекла за ненадобностью.

– Что это на тебя накатило сегодня, парень?

– Да нет сил, дорогой мой, боле смотреть, как заживо гниёт всё вокруг, сколько всего разграблено и уничтожено: лес обоссан, река в мазуте... Но ещё хуже – пришлые люди, сам знаешь... управляющие да специалисты, что с нашими пауками сплелись...

Отец Григорий встал, мягкими слабокариыми глазами обшарил Егорово лицо:

– Вот ты какой, Егор Сергеевич... А я, грешным делом, тебя в пьяницы списал.

– В пьяницы, говоришь? А что, ежели я сейчас возьму топор свой плотницкий да и ухайдакаю управляющего-то с парторгом – ведь они первые воры да разбойники... это как? Благословишь ты меня на это дело?

Отец Григорий зябко повёл плечами, тяжело вздохнул:

– Пойдём, Егорий, к воде, смоем ночку с лица...

Егор посмотрел ему вслед, тихо спросил:

– А может, Алексеевич, ты мне свой топор на это дело дашь? Мой притупился уже...

Старик, словно натолкнувшись на острое, резко повернулся к Егору и, встретив его вопросительный взгляд, ответил ему певучим голосом:

– Уж не плату ли ты у меня за церковь авансом требуешь, Егор Сергеевич?

– Угадал, святой отец, охота мне тебя в долю взять в сём богоугодном деле, а я – крещёным твоим инструментом обоим нам дорогу в рай прорублю.

– Смотри, Егор, не подскользись, кровь-то скользкая...

– ...Нет, не утешил ты меня, отче. Не утешил, – горько вздохнул Егор и шагнул на тальниковую дорожку, что

вилась вдоль берега, а возле огородов, перехлёстываемая кое-где молодым крапивным пламенем, плавно поднималась к деревне.

Старик в раздумье начал спускаться к реке, казнясь и виноватясь за что-то горькое и недосказанное, что осталось на душе после разговора с Егором. Он настолько погрузился в свои мысли, что невольно вздрогнул, увидев среди тальника чью-то фигуру в белом платье, но, приглядевшись, понял, что это за ночь расцвела молодая верба. Припозднилась, однако... Старик наклонился к воде, погрузил в её янтарную влагу свои тёмные руки, которые тотчас, словно маленькими цветами, покрылись подводным кислородом, и он вдруг подумал, что хорошо бы отпустить на волю эти усталые руки и это склонившееся, прыгающее по растревоженной воде невесёлое лицо и всё своё никому не нужное на этой земле изношенное тело – замереть, отдаться этой длинной воде, плыть и плыть до того самого места, где когда-то давным-давно он, облепленный нарымским гнусом, улучив минутку, выскользнул из задыхающейся колонны, на ходу срывая кирзовые сапоги, чтобы набрать в них воды из безымянной лесной речушки и принести полумёртвым от зноя ребятишкам и женщинам... И точно так же, как и сейчас, ему нестерпимо захотелось навсегда уйти из этой страшной жизни в ласковую июльскую воду – эта мысль преследовала его всю дорогу, пока он догонял колонну и когда его истязали конвойные, вылившие воду и бившие его по лицу мокрыми сапогами, а он, теряя сознание, старался сильнее вдавиться в сырую землю, чтобы напитать свою рубашку и картуз живительной влагой и потом выжать её ребятишкам. Точно так же его били в церкви головой об колокол,

когда, завидев энкэвэдэшников, он пытался предупредить сельчан и звонил до тех пор, пока ему не скрутили руки. С того времени ему не раз казалось, что голова его сама стала колоколом, до того в ней иногда нестерпимо звенела и ухала адская боль, и он катался по земле, как в тот день, когда его били за воду и он, сквозь кровь, заливавшую глаза, увидел в траве ползущую к нему широкую чёрную змею и, собрав остатки сил, цепляясь за траву, миллиметр за миллиметром, извиваясь пополз ей навстречу, чтобы побыстрее забыться от нестерпимой вспыхивающей боли, но вдруг с безнадежной отчётливостью увидел, что навстречу ему медленно и неотвратно ползёт тяжёлый, шелестящий кнут активиста Самуила Гамарника.

Тихо течёт река, тихо разговаривает с берегами...

...По тропинке навстречу Егору сноровисто катился в бедных штанишках и материнской болоньевой куртке шахиншах подергущек, король гольянов, кайзер пескарей, царь всяя плотвы, предводитель деревенской мелюзги хитроумный Салтыков-Васильев-Николаев с тальниковыми удочками и изрядным бидоном – человек в высшей степени практический и самостоятельный, унаследовавший своё свободолюбие, по всей видимости, сразу от трёх возможных кандидатов на его отцовство. Егор уважительно отступил с тропинки, давая дорогу промысловому человеку, а тот, шмыгая носом и наклонив соломенный чубчик, ещё быстрее замелькал босыми пятками, едва поспевая за своей лёгкой чистой душой, что летела впереди его салтыковсковасильевскониколаевского тела навстречу просторной воле, отраде и ясной утренней заре.

«Видать, на перекат подался, окуней выманивать», – улыбнулся Егор, отвечая на его приветствие, и, чувствуя,

как тёплая волна поднимается в груди, крикнул вдогонку:

– Егорка, на Хомутовский омут вали, за старой черёмухой само то сейчас.

– Знаю, дядя Егор, только там уже занято.

Приглядевшись, Егор и впрямь увидел, как через луговину, проваливаясь местами в туман, прыгающей мальчишеской походкой торопливо шёл с удочками молоденький солдат.

– Никак Алёша Береснев вернулся, – догадался Егор и неожиданно для себя ревниво обрадовался, что не какой-нибудь городской бамбук пробирается к его заветному мальчишескому местечку, а свой, парамоновских кровей человек. Видать, натосковалась деревенская душа по родным местам, поди и синеглазке своей, Алёне Шпаковой, в окно не успел постучать... Егор отыскал глазами мрачноватую шпаковскую пятистенку, обнесённую вровень со шлакоблочным гаражом высоким тёсовым забором. За ним, словно в КПЗ, в задумчивости стояла одинокая рябина, а в промежутках между визгом циркулярки слышался надсадный лай собаки, которой вторила вислоухая тявка, суетливо нервничавшая обочь подсыхающего дорожно-го киселя, по которому навстречу пьянящему луговому приволью двигалось стадо коров, как бы одетых в старые замызганные фуфайки. Одна из них с аккуратными молодыми рожками и со звёздочкой во лбу, завидев Егора, со спокойной уверенностью и тяжёлой грацией не задумываясь двинулась в его сторону, не спуская с него глубоких тёмных глаз, а подойдя вплотную, нерешительно остановилась, будто забыла, за какой такой надобностью она бросила своих подруг и свернула с дороги.

– Это Петрушихина молодка. Ишь, за бугая колхозного тебя приняла, – растягивая щербатый рот в улыбке, доложил пастух. – У скотины-то сердце доброе, не то что у нас, злыдней, – он потянул за ремень перекинутую через плечо полевую сумку, из которой торчала заткнутая газетой бутылка с молоком; покопавшись, достал чекушку водки и разрисованную мальвами железную кружку.

– Однако, Агафон, ты в перебор пошёл, сегодня никак двенадцатое, третий день как отстрелялись...

Пастух качнулся в седле и, словно для своего успокоения, ласково погладил гнедого по седой голове:

– У кого перебор, а у меня три брательника чужой землёй присыпаны, аккурат по одной душе на каждый день. Аль забыл, Егор Сергеевич? – Агафон железными пальцами налил до середины цветов и протянул Егору.

Петрушихина корова, терпеливо дождавшись, пока Егор выпьет водку, снова подошла к нему, недоверчиво, по-женски вглядываясь в его лицо, потом, вытянув шею, коснулась мордой рукава и шумно вздохнула.

– А ну, становись в строй, девка, нечего вздыхать! Не ровён час Мария Татарина приметит, как ты мово дружка обхаживаешь, она с тебя ошмётья-то палкой пообобьёт. – Агафон одобрительно растянул свой папиросный рот, подмигнул Егору, но, встретив его недоуменный взгляд, спохватился и виновато улыбнулся: – Это я так... к слову... Бабы на ферме тобой её дразнят, вот и... – Он опять погладил Гнедка, жадно пившего хмельной весенний воздух, достал концом бича бодливого перьярка и, глядя поверх стада, тронул поводья: – А ну, вдовушки, прибавь шагу! Бывай здоров, Егор. Извиняй, ежели что не так.

– Бывай здоров, Кузьмич.

Егор свернул в проулок. Всю дорогу до дома на душе у него была какая-то неловкость: он ведь и впрямь не сделал ни одного шага навстречу Марии, да, по правде сказать, и не особо задумывался над этим, хотя не раз и не два примечал за собой, что глазами невольно старался отыскать её среди других и лишь тверёзый разрешал себе проходить мимо её неказистого вдовьего дома.

На одной из придорожных рябин сидела чёрная ворона, которая при виде Егора тяжело снялась с ветки и, как комок грязи, сердито ворча и огрызаясь, полезла в свежавыстиранное небо.

Егор поставил вёдра с водой под навес, присел на лавочку, закурил. После утренней свежести домой идти не хотелось. Да и не вмоготу ему было в последнее время заходить в пустой дом, словно он боялся застать там Марию после их недавней встречи, от которой осталось у него на душе неясное чувство тревоги и ожидания.

Случилось это в один из первых вешних дней, когда Егор, разобрав в ограде летнюю печку с прогоревшими колосниками, безуспешно пытался реанимировать несчастную старушку, но всякий раз у него выходила такая безжизненная уродина, что он, израсходовав весь наличный запас крепких слов, перепачканный глиной и сажей, завидев Марию, шедшую с фермы, поспешно ретировался за кособокую трубу. Услышав от калитки её весёлый необидный смех, смущённо вылез из укрытия и, оглядев свою «красавицу», не выдержал и тоже расхохотался:

– Экая напасть! А ведь мне её дед Леонтий за полчаса выложил, да ещё с перекурами.

– Видать, под закрытие сельпо торопился, – снова рассмеялась Мария, пряча выбившуюся прядку под платок. – Давай, Егор Сергеевич, прогуляйся под горку за глиной, надо новый замес сделать, да воды прихвати.

...Вдвоём работалось легко и споро, но всякий раз, когда Егор встречался с живыми и ясными глазами Марии, смотревшими на него со спокойной и радостной серьёзностью, он виновато опускал голову, совсем как много-много лет назад на её свадьбе...

Едва печка перевалила за середину, он спохватился и, проклиная себя за недогадливость, кинулся в магазин, на ходу соображая, что поставить на стол, ибо давно уже привык обходиться в своём холостяцком хозяйстве самым простым и обиходным. Он так торопился, что даже забыл в костюме деньги; хорошо, что торговала Анюта, а не Шпачиха, люто ненавидевшая Егора за то, что тот никогда не пресмыкался перед ней с похмелья, никогда не просил в долг, не шёл в кабалу.

Уже смеркалось, когда Егор, совестясь, что оставил Марию одну, прихрамывая, торопливо шёл с покупками к дому, и сердце его, как когда-то в юности, не совпадало с шагом, но когда он открыл калитку, то во дворе было пусто, лишь возле умывальника белел забытый Марией платок да на весёлой, подбеленной свежей извёсткой печке, словно оправдываясь перед Егором, бормотал закипающий чайник. Полы в доме были чисто вымыты, окна протёрты, а со свежестиранной рубахи, что висела возле печки, ещё капала вода.

...Поутру к нему на минутку забежала Настенька Воробьева – маленький черноглазый воробушек, выпавший из осиротевшего гнезда, оставленного родителями, уле-

тевшими прошлой осенью в загадочную страну ЛТП, и великодушно подобранную царственной тёткой – супругой председателя сельсовета Дорофеева – на правах крохотной божьей птички.

– Это вам, дядя Егор. На счастье. Тётя Мария их в город возила, в церковь, так что вода теперь весь год свежей будет, – Настенька поставила на стол стеклянную банку с вишнёво-коричневыми ветками вербы, густо усеянными атласными барашками. – Я побегу, а то тётя Маргарита ругаться будет.

– Спасибо, Настенька, только у нас с тобой уговор такой будет: как только счастье ко мне заявится, мы его с тобой пополам разделим. Идёт?

Настенька наклонила русую голову и, всматриваясь в лицо Егора, точно в неясное зеркало, тихо, как бы про себя, ответила:

– Мне, дядя Егор, счастливой не бывать. А ваше, дядя Егор, счастье рядом ходит. Только вам надо одну загадку отгадать.

– Какую загадку? – опешил Егор.

– А вот какую: кто всю жизнь в клетке живёт?

Даже сейчас, спустя почти месяц после разговора с Настей, Егор с растерянной улыбкой вспоминал её черёмуховые глазёнки и неожиданные, с горчинкой слова, на которые он до сих пор не смог найти ответа...

Он закурил, чуть передвинувшись на лавочке на встречу тёплому жёлтому свету, уже затопившему крыльцо, половину ограды и просочившемуся дымными дрожжащими полосами сквозь щели пустой собачьей будки, что стояла возле тына аккуратно напротив Егора, напоминающая ему о верном лохматом Буяне, павшем в День Совет-

ской Армии натуральной собачьей смертью под напором неумолимой старости.

– Так и меня по-собачьи вынесут когда-нибудь из моей конуры, кроме ветра и повить-то некому будет, разве что Семён по почте на домовину раскошелится, и то навряд...

Егор осторожно помял простреленную, постанывавшую в последние дни ногу, чувствуя, как снова на него наваливается тоска и желание хотя бы на минуту прислониться к высокому братнему плечу, побыть рядом с последним родным человеком с материнским овалом лица и весёлым разлётом бровей. В такие минуты не раз и не два ругал он себя последними словами за свою гордыню и непреклонную журавлёвскую кровь, что развела их, как два речных рукава, пообочь житейской отмели, которой не видно теперь конца и края до самого горизонта...

А может, и прав брательник, давно уже оборвавший деревенские постромки, много раз звавший его на вольные городские хлеба, может зазря держится Егор за пересохшую наполовину пуповину, по которой с превеликим трудом проталкивает свою живицу униженный, загаженный парамоновский чернозём. Кто знает... Во всяком случае, Егор никогда не казнил себя этой мыслью, зато всю виноватил себя, что не сдержался в последний Семёнов приезд, когда брат впервые прикатил на лето с вострогрудой романтической женщиной Нонной, которая на манер козы весь день жевала какие-то привезённые с собой травки, целовала фотокарточку поэта Вознесенского, а к вечеру, выпросив у Егора таз, выкрасила свою химическую голову в новый ядовито-оранжевый цвет, применяемый в министерстве путей сообщения для обходчиков и

железнодорожных рабочих как сигнал об опасности, чем вызвала сильнейший приступ аллергии у благородного Буяна, до самой темноты глухо ворчавшего и вздрагивавшего в своей будке. Егор, желая сделать дорогим гостям приятное, постелил им на ночь в предбаннике, посреди огородного приволья, помня, как сладко спалось им с братом на свежем воздухе, когда по молодости, в парнях, чтобы не будить отца и мать, возвращались они, проводив своих девчат до дому, по отуманенной тропинке.

Наутро, встав пораньше, он запасся у бабки Прокудихи парным молоком, изладил кастрюлю любимых Семёном наваристых деревенских щей и, заранее радуясь, как он будет угощать родню, спустился в огород, чтобы нарвать свежего укропа и огурчиков. Солнце только-только вкатилось в деревню, и всякая божья тварь, всякий листочек, встав на цыпочки, пели ему аллилуйю во здравие чистой просыпающейся земли. Егор, одетый по такому случаю в бережно хранимую ещё с довоенных времён, шитую женой Марией голубую рубаху, шёл с ведёрком по тропинке, отороченной нежной изумрудной вышивкой ромашки, и на минутку остановился, с улыбкой наблюдая, как тяжело гружённый, с золотым оплечьем шмель, собрав оброк с молодого подсолнуха, в раздумье остановился в воздухе и, решив всё-таки пойти на дозаправку, стал кружиться над цветущим маком, что всякую весну сам собой оживал в том месте, где когда-то его посадила Егорова мать.

Он двинулся к бане, намереваясь позвать разоспавшихся гостей на речку, но вдруг остановился, словно ему плюнули в глаза: на нежных цветах материнского мака, покрытых капельками росы, болталась разбросанные семёновские презервативы. Егор брезгливо отшвырнул

укроп, машинально обтёр руки. В три прыжка добравшись до бани, рванул дверцу и, не обращая внимания на визг романтической кобылы, из-под подушки которой вывалился встревоженный поэт Вознесенский, выволок Семёна, нагнул его головой к презервативам и, задыхаясь от ярости и гнева, отрезал:

– А ну, собирайтесь отсюда к... чёртовой матери, и чтоб духу здесь вашего больше не было! И эти кишки воюющие домой забери!! Пусть они у тебя на роялях болтаются!!!

...Недели две после этого случая Егор не решался заходить в огород, пока июльская гроза, словно сочувствуя ему, не свернула в деревню и не прошла очистительным ливнем по земле, смывая горечь и чёрную накипь разлуки. Но и после этого Егору ещё раз пришлось испытать приступ гадливости, когда он наткнулся в бане на забытый кобылой шиньон. Поддев его вилами, он, матерясь и отплёвываясь, крадучись, чтобы никто из деревенских не заметил, отнёс его в помойную яму, а потом долго и тщательно обтирал вилы о лебеду и крапиву.

Егор поднялся, до краёв налил из ведра умывальник, потом ещё и ещё, пока кудрявая речная вода не захладила грудь. Он вошёл в дом сменить рубаху и, поколебавшись, надел голубую, словно прижался изнутри к её старинной чистоте, ибо только второй раз после войны дотронулся до неё и никогда не смел стирать, боясь нечаянно смыть пятнышко крови, оставшееся возле воротника от Мариинных губ в тот день, когда пришла повестка.

Взяв с притолоки папиросы, Егор спустился по позолоченным ступенькам с крыльца, прошёл под навес, в дровник, где сладко пахло смолистой щепой, стружкой и

в голубой темноте висели, раскручиваясь на паутинках жёлтые соломинки – как бы подвешенные про запас на всякий случай остатки прошлогоднего света. Егор и сам не знал, зачем он пришёл сюда, ему казалось, что он стоит в этой деревянной полутьме давным-давно, со вчерашнего дня, когда бабка Васёна приносила поточить свой первобытный топор и он, проводив многожильную солдатскую вдову до калитки, до самого вечера провозился со своим инструментом: сменил черенки на лопатах, прошёлся брусочком по обиходным топорам, что хищно и преданно поглядывали на него из разноски, а заодним обласкал весёлый, демидовской стали плотницкий строевой топор.

Было тихо-тихо, и Егор закрыл глаза, чтобы хоть немного побыть в этой спокойной внутренней темноте, но тотчас из неё выступили и закрутились в потоках воздуха живые соломинки и морщинистые лица дровяных чурок в невысокой поленнице с висящей над ней самодельной полкой, в верхнем отделе которой обретались отцовские рубанки и всякая столярная мелочь, а чуть ниже, на старой мягкой ветоши, в томительном ожидании и одиночестве, светлым лезвием к стене лежал плотницкий задумчивый топор...

Мысленно Егор уже взял его и, скользнув рукой по тёплому деревянному тулову, безмянным пальцем привычно отыскал под его железным кадыком небольшую узловатую щербинку, которую специально, по нечаянной душевной прихоти, не стал обрабатывать стёклышком, и всякий раз, когда во время работы случайно касался её, ему казалось, что она возвращает уставшей руке начальную лёгкость и уверенность, наподобие той, что жила когда-то в его душе, а теперь поиздержалась, поистрати-

лась в бестолковой сутолочной жизни, сошла на нет... Он отыскал глазами ближайшую соломинку, на ощупь дотянулся до топора и, не целясь, резаным боковым ударом рубанул по паутине.

На выходе Егор обернулся: лёгкая и невредимая, она вновь кружилась вместе с соломинкой в восходящем потоке.

...Он быстро шёл по тропинке, а там, далеко внизу, на речном берегу всё ещё шевелилась напротив солнца маленькая фигурка отца Григория, и ему показалось, что, заметив блеснувший топор, тот начал пристально всматриваться в его сторону. Егор свернул с тропинки на просёлочную дорогу, огибавшую огороды и уходившую вниз, на луга, к небольшой безродной речушке, что впадала в Сурьму недалеко от отца Григория и раз в году, по весне, выказывала свой женский характер, разнося латанный-перелатанный деревянный мост, с которого шла дорога на поля и в райцентр, и откуда наемдни пригнали пару танков да солдатешек, чтобы растащить остатки разбитого вдрызг моста и навести в приказном порядке новую переправу.

Минут через десять Егор догнал бричку, в которой лицом на пожухлой соломе спал Иван Нелюбин – большое человекообразное существо в замызганной дерьмом и навозной жижей фуфайке. Егор подобрал вожжи, вывел Серого на сухое место. Иван что-то глухо замычал, елозя кирзой по скобам и болтам, которые вёз из кузни к мосту, из его сивушного, облепленного соломенной трухой запёкшегося рта на свалившуюся шапку текла слюна. Егор хотел было сдвинуть огромное чугунное тело, но большая нога его скользила по сырой земле, и он, плюнув, пошёл

рядом с подводой. Иван пытался приподнять голову, но она, перегруженная ядовитым самогоном, бессильно падала, всякий раз ударяясь о грязный край брички, пока, наконец от боли и сочащейся из разбитой брови сукровицы он не очнулся и потом долго-долго смотрел на проплывавшую мимо него большую равнодушную землю. Промакнув ладошкой кровь, он начал судорожно икать, пытаясь не то что-то объяснить, не то о чём-то спросить у Егора.

– Ну? – переспросил Егор.

– ...и... и... коня-то спа-а-ать... положь... тссс... молчок... тссс... Поль Мориа и а... а п-почтальонша-то евонный адрес не даёт, а я, Нелюбин я, на конном... ик... на конном, говорю, чтобы все значит... на дочкиной, видите, свадьбе, и чтобы Поль со всеми мусью пели, а мы им сви-ню, Егор, с кумом завалим – пусть поют... с кумом мусью, грю, на конном тата-та-та и та-та... – Иван жалобно икнул, и тяжёлая грушевидная голова его с русым пионерским чубчиком опять упала в шапку.

Ближе к мосту дорога была совсем разбита, и Серый время от времени прыдал ушами, вздрагивая от рёва танкового дизеля. В низине, затопленной вешней водой, стояли ракиты, точно женщины, подоткнувшие юбки, забрели полоскать бельё; чуть левее на развороченной земле валялась вытаявшая волокуша, тросы и только что вытащенные, чёрные от воды и ила, старые отслужившие сваи.

На другом берегу, на пригорочке, уронив на плечо кудрявую седую голову, тихо плакал на гармошке голубоглазый дед Иван – пришедший несколько лет назад откуда-то с полей одинокий, как бы выгнанный из соседней жизни, человек. Он был навряде сумасшедшего, потому как

играл на лугах для лошадей старинные вальсы и песни, разводил с женщинами цветы, никогда не здоровался с начальством, не пил самогонку, а главное – почти никто и нигде не видел его без гармони, которая всегда была при нём, словно старая верная собака. Егору иногда казалось, что отними её у него, и он тут же упадёт замертво, как человек, разучившийся дышать лёгкими и перешедший на ситцевые меха. По первости деревенские считали, что он вообще немой, потому как на все вопросы отвечал только на гармошке, но уже через неделю многие наловчились понимать его, особенно ребятишки, быстро вошедшие к нему в доверие, и завклубом Арнольд Стамескин, деликатно пытавшийся выведать на своём перламутровом баяне подробности прежней Ивановой жизни...

Зато с приездом солдат, которых он чрезвычайно отличал от всех остальных людей и ставил на второе место сразу после деревенских коней, старик зачистил к мосту: помогал ошкуривать сосновые хлысты, дрович солдатские топоры, а в затишное время извлекал из гармошкиной груди старую щемящую «Тоску по Родине», «Память о бурской войне», и солдатам казалось, что тяжёлая внешняя вода то замедляет, то убыстряет свой бег, подчиняясь Ивановой гармошке.

Возле танка, с тросом, замотавшимся в гусеницу при развороте, возился механик-водитель – коренастый, с улыбчивыми глазами парень, который, завидев Егора, приветливо махнул рукой:

– Ох, батя, смеаю: у тебя в лесу молодка припрятана! Каждый день, как на свиданку, ходишь. А что это за мешок навозный в бричке валяется – никак дядя Ваня, что ли? Бог ты мой, чего это с ним?

– Болеть у него такая, товарищ генерал. Русская... Ты мне, Костя, лучше скажи, куда железо сгружать – к тёсу, что ли? Ваши-то где?

– Да лес пошли валить, часам к семи вернутся.

Разгрузившись, Егор кликнул соседского парнишку:

– Слышь, Юр, свези дядю Ивана до дома, а коня отгони на конный или к конторе. Да сильно не гони, он после зимы сердце ещё не подкормил. Смотри, Юрич, не гони, говорю, а то уши-то у тя шибко удобные!

Пока освобождали трос, Егор по-стариковски ворчал на Костю, радуясь в душе нечаянной возможности побыть при деле, вдыхал знакомый сладковатый октановый воздух, а когда Константин сел за рычаги, чтобы спятить немного машину, Егор не выдержал и, воровато оглядевшись, погладил ладонью тёплую камуфлированную сталь, словно наедине от всех хотел поздороваться со старым другом. За разговорами они не заметили, как подъехал «газик», и лысоватый, с кудрявыми усами майор, сняв с потной головы фуражку и оглядев переправу, спросил:

– Ну что, Матюхин, переобулся?

– Так точно, товарищ майор. Вон дядя Егор помог.

– Ну, это – дело. За помощь – спасибо. Помнят, значит, руки. Вот и нас просят подмогнуть. Давай, Матюхин, отгони свою красавицу в тенёк, садись, дорогой, в машину, поедем на третье отделение. Надо им технику подлатать да ещё на кульстан заглянуть, а то завалят посевную...

...Кое-где речушка вышла из берегов, и Егору пришлось обходить тёмно-синюю печальную воду и жёлтые глаза мать-мачехи, пока тропинка не свернула в наполненный зелёным дымом лес, где в подсыхающих лужичках ещё плавала зеленовато-жёлтая берёзовая пыльца,

пахло сладкой прелью оттаявшей земли, а в логу, возле сырого валежника Егор увидел прижавшихся друг к другу 8 душ подснежников. Возле кладбища, в просвете между вершинами, он опять увидел чёрную ворону, которая, отлепившись от неба, спустилась на крайнюю возле погоста сторожевую берёзу. Егор шёл между могилами, досадуя, что постеснялся при майоре отругать танкиста за то, что тот оставил машину в открытой позиции. В досаде Егор прошёл родительские могилы и, вернувшись, достал из отцовской половины сухую сосновую ветку, постоял с минуту, всё ещё мысленно отыскивая по старой привычке безопасную позицию у моста, потом, найдя глазами просеку, двинулся вдоль неё на край погоста, куда зачастил в последнее время, как только установились погожие дни. Он, пожалуй, и сам не смог бы точно объяснить, что толкало его на эти экспедиции: может, подступившее вплотную одиночество, а может, и случай по весне, когда, похоронив своего погодка Семёна Шаповалова, стоял он вместе со всеми на берегу, глядя на уплывающий, уплывающий, уплывающий, неостановимый, как сама жизнь, лёд, а потом сидел на поминках в школе и горько, не притрагиваясь к водке, думал о Семёне, до последнего дня возившемся с лошадьми и жеребятами, не нажившем ни счастья, ни богатства, так что поминальный стол пришлось в школе накрывать...

Прямо перед Егором в сосредоточенной задумчивости смотрел из портрета писатель Достоевский, скулами и лобастостью неуловимо напоминавший Семёна, а по бокам от него – тоже полёгшие уже русские мужики: с левой стороны доски – Пушкин, Гоголь, Лев Толстой, с правой – Горький, Лермонтов, Есенин... И Егору казалось

странным, что они всё ещё живут в школе, не бегут куда глаза глядят из одичавшей Парамоновки, а, напрягая все силы, пытаются понять, почему этот странный господин «парторг» с босым, как бы составленным из наворованных деталей лицом, пробормотав несколько слов про Семёна, тут же на поминках начал говорить о выполнении сообразительств на свинофермах к давно прошедшему Дню Советской Армии и Военно-Морского Флота. Однако здесь же выяснилось, что победитель военно-морского соревнования большерукая доярка Саша Королёва уже второй день находится в загуле. В классе стало тихо, и все стали смотреть на великих писателей, как бы спрашивая, как же быть теперь с Сашей, но тут над поминальным столом торжественно взошла высоковольтная лысина председателя сельсовета Дорофеева.

– Товарищи! – сказал Дорофеев. – Сегодня мы поминаем последнего нашего фронтовика Семёна Шаповалова.

Егор смотрел в окно, почти не слушая, о чём бубнит Дорофеев, но, случайно бросив взгляд на портреты, едва не рассмеялся: ему показалось, что Пушкин, который был ближе всех к Дорофееву, с трудом сдерживается, чтобы не ударить его по лысине, сквозь которую сверху хорошо было видно, что Дорофеев всё врёт... Но в это время ядовитая бабка Прокудиха, до предела выкатив базедовые глаза и положила на стол огромную каменную грудь, громким шёпотом спросила через стол у председателя:

– Ты что буровишь, Борька, какой же Сёма последний? А Егора Журавлёва ты, что ли, самолично закопал? Вот ведь он сидит, железом побитый, аль забыл?

– Я извиняюсь, граждане, – пожевав индюшными губами, возразил Дорофеев. – Он, можно сказать, сам себя

похоронил: живёт без людей, без интересов, на отшибе, сам по себе, неактивный какой-то...

– Так он же жи в о й... – не поняла Прокудиha.

Егор тяжело поднялся, не глядя на Марию, сидевшую напротив с опущенной головой, вышел из школы.

С этого дня он стал ходить на кладбище. Укрепил дёрном осевшую землю на могиле Семёна, неделю провозился с оградкой и, незаметно втянувшись в работу, вдруг твёрдо решил про себя, что не уйдёт отсюда, пока не обустроит все солдатские «землянки» и не поставит общий деревянный памятник, как мечтал когда-то послевоенный председатель Алексей Иванович Трошин, настоявший, чтобы фронтовиков хоронили рядом друг с другом на той поляне, вокруг которой большой звездой росли молодые ели. Он и сам одним из первых лёг в общую землю, успев за два года сделать для деревни больше, чем все остальные двенадцать сменщиков, даже плахи на мост, который сегодня растаскивал Костя, и те помогал тесать, сбросив на траву свою однурукую гимнастёрку.

Весь день Егор провёл на кладбище: чистил дорожки, поправлял кресты, пересадил несколько рябин поближе к ограде, за которой, обвитые корнями, беспробудным сном спят неразлучные друзья детства. Где-то вверху тенькала пичуга, но когда Егор поднял голову, то увидел, что с соседней берёзы, сторбившись, на него смотрит чёрная ворона. Ему показалось, что он узнал её, и, чтобы удостовериться, тихо спросил:

– Это ты? Иди, выпей со мной за мою погибель.

Услышав Егоров голос, она переступила с ноги на ногу, тяжело поднялась и, перелетев на молодую рябину, уселась в сторожевой позе, в какой Егор захватил её про-

шлой весной на крыше своего скворешника, но не успел среагировать, настолько быстро эта тварь выдернула за клюв высунувшегося из летка желторотого скворчонка. Он опять стал наблюдать за ней и, приглядевшись, понял, что она следит не только за ним: с вершинки ёлки, что стояла в изголовье шаповаловской могилы, будто по резьбе, бежал быстрый жёлтый огонёк. Остановившись на минутку, он замер, понюхал воздух и, встретившись с Егором живыми немигающими глазёнками, кубарем, вниз головой скатился на землю, постоял, раздувая щёки, потом опрометью кинулся в берёзовые ноги, а оттуда – в норку под старый пенёк. Егор осторожно прилёг на землю, в перекрестье двух стебельков поймал присыпанную листьями норку и несколько раз тихонько свистнул. Немного погодя из-под пенька показалась хитрючая черноглазая мордочка: бурундучок сел на задние лапки, огляделся, потом, поцыкав на пролетающую бабочку, повернулся к солнышку полосатой спинкой и деловито принялся умывать и расчёсывать шубку. Краем глаза Егор видел, как мягко, бесшумно набирая скорость, с подветренной стороны к зверьку приближается чёрная ворона. Поначалу он хотел подпустить её поближе, но не выдержал и швырнул подвернувшуюся палку, от которой та легко увернулась и, грязно ругаясь, свернула к просеке.

– Эй, давай поговорим по-хорошему! – Крикнул ей вслед Егор! – По-христиански, как тогда, на войне, когда ты сидела у меня на груди...

На выходе из леса, вспомнив про Настеньку, он нарывал букетик медунок с розовыми и васильково-синими колокольчиками и поначалу шёл вдоль берега почти в ногу с тяжёлой тёмной водой, но ближе к переправе, вы-

бравшись из затопленных ивняков, она бросилась в узкую горловину со всей страстью живого, истосковавшегося по воле существа.

На стройке было тихо, солдаты ещё не вернулись с лесоповала, лишь возле Костиного танка бродил одинокий лобастый бычок с пробитыми ушами. Егор подобрал свисавшую с одного из траков ветошь, обтёр руки, провёл ладонью по нагретой солнцем броне, радуясь её знакомой тёплой тяжести, и, как и утром, когда украдкой от Кости прикоснулся к ней, в нём снова шевельнулось забытое уже чувство строгой радости и соответствия чему-то основательному и законному.

Он достал папиросы, но тут же сунул их обратно, на ходу подхватил валявшееся на земле брезентовое ведро, дважды сбежал к реке, смывая грязь с ходовой части, палкой оббил комья с бензобаков, протёр триплекс, мысленно костеря хозяина за нерадивость и время от времени поглядывая на зареченскую дорогу, по которой должны были вернуться солдаты...

...Уже сидя на месте механика-водителя, он вспомнил вдруг про отца Григория и остро пожалел, что его нет рядом, потому как чувствовал, что никогда уже больше не будет в этой жизни у него такой минуты и такого железного алтаря, где бы он мог испросить прощения за всё, что предстояло ему теперь совершить. Минут десять он просидел в сосредоточенной задумчивости, как бы заново привыкая к старой тишине, но почему-то думал не о том, как удобнее перегнуть машину в ложок, к облюбованному затишному месту, а о своих тяжёлых постаревших руках, что лежали перед ним на рычагах как мёртвые голуби. По старой привычке он прикоснулся к венчальному кольцу,

потом мягко, с первого раза, запустил двигатель, отжал сцепление... В дрожащем над приборной доской зеркальце поймал свои тяжёлые глаза и с удивлением увидел на рубашке, рядом с Марииной отметиной, свежее пятно крови – видать, нечаянно задел пораненным во время работы пальцем.

– Что смотришь? – тихо спросил он дивчину на фотокарточке, что висела над зеркальцем и была чем-то неуловимо похожа на Егорову бабушку Алёну Касьяновну, которая до последней своей весны работала в саду и однажды, подвязывая молодую рябину, покачнулась, прижалась к ней да так и померла в обнимку.

– Скажи мне: кто всю жизнь в клетке живёт? – Егор ещё раз посмотрел в девичьи глаза и, словно решившись на что-то, быстро вылез из танка, не разбирая дороги через лужи добежал до пригорка, где лежали топор и букетик медунок, вернулся и, перед тем как прикрепить цветы над фотокарточкой, прочёл на обороте: «Костику от Анны. Май 1978 года».

– Ну что, Аннушка, поехали? – тихо спросил он. – Не бойся, девочка, тут недалеко.

Он плавно, чтобы не сдирать с земли её нежную кожу, развернулся, пересёк разбитую грунтовку и, набирая скорость, пошёл через луга по свежему тракторному следу – видать, опять молодой алкаш Виталя Кочубей гонял вчера в сельпо на своём «С-80». Егор перевёл тягу на мягкий ход, огибая лошадей и заросли молодой мяты, по которым впереди танка быстро и бесшумно бежала светлая тень от облаков. Всякий раз, когда Егору приходилось бывать здесь, его всегда волновало сходство с другим таким же, памятным ему, местом.

Было это уже в конце войны, когда он дважды горел под Пясками в английском «валентайне» и, пересев на облизанную огнём «тридцатьчетвёрку», влетел однажды на такую же поляну. Егорова «горелка» шла второй, а там, на самой середине поляны, где бушевала нежная мята, уже пылала чёрным пламенем попавшая на мину головная машина лейтенанта Берязева. Сам он рычал и катался среди покорёженных, разбросанных взрывом траков, из его прожжённого комбинезона вырывались струйки дыма, а чуть поодаль в синих цветах лежало вырванное из груди сердце механика-водителя Андрея Охрименко.

...Егор вернулся на тракторный след: кони остались уже позади, лишь на отшибе бродила молодая Сметанка с жеребёнком да стреноженный, с чёрными взмыленными пахами и грудью усталый гнедой, возле которого в траве сидел белоголовый хлопчик с чёрной кудрявой собакой, пытаясь снять с коня верёвочные путы.

– Ты чей таков? – дружелюбно спросил Егор, помогая ему.

– Мамин Любин.

– Чумаков, что ли? Ну-ка, Василий, сорви вон тот лопушок. Готово? Сделай кулёчком, – Егор достал фляжку, налил воды, – попой своего друга, а то у него язык к земле приклеится. И сам из фляжки попей, водичка ещё холодная.

– Ты, дядя, убивать кого едешь, что ли?

– Да вроде нет, с чего ты взял?

– Тогда давай меняться: я тебе коней, а ты мне танчик.

– А не прогадаешь?

– Мы бы с мамкой поехали батьку искать и приставили б к нему дуло.

– Ладно, браток. Только мне сначала с матерью твоей потолковать надо. Идёт? А фляжку себе оставь – день сегодня жаркий.

Егор вернулся к машине, на прощанье помахал рукой:

– Слышь, Василёк, а это кто так Гнедка с утра намылил?

– А это дяденька Бродский, молодой, из-под Воробьёвской горы «москвича» своего стрёмного на вожжах вытаскивал. А Гнедок потом идти не мог, в проулке лежал. Тётя Мария ему сахару приносила и хлеба.

Егор бросил недокуренную папиросу, захлопнул люк. Какое-то время ему казалось, что он почти стоит на месте, но постепенно тяжёлая луговая земля с кланяющимися ему цветами, набрав скорость, хлынула навстречу широким неистовым потоком, и уже оставалось совсем немного до крайнего белошиферного дома под двумя старинными тополями, что стоял на окраине деревни, за огородами, председательскими окнами на луг, одно из которых он сразу же взял на прицел и, уже не разбирая дороги, яростно давя на газ, пошёл напрямик через заросли старой конопли и крапивы туда, где ласковый майский ветер тихо шевелил обескровленный сельсоветский флаг. Теперь уже ничто не могло остановить его, и он с непонятной для себя радостью вдруг почувствовал скатившуюся по груди струйку пота, как бывало на войне и покосе... Он всё рассчитал мгновенно и точно: на последних метрах сбросил скорость, по дуге обошёл зацветающую в палисаднике черёмуху и, прошив дулом раму, мягко протаранил председательскую грудь, отбросив его вместе со стулом к высокой нерусской печке:

– Ну, Борис Федорович, сука желтоглазая, ты, небось, думал, что это Виталья за опохмелкой прётся? Ан нет, обознался на этот раз.

– Не дури, Егор, – тихо, словно боясь, что их услышат, засопел председатель, потирая ушибленное колено.
– Чего ещё удумал?

– Садись, товарищ детства, в свой плетённый стул, пиши красивым почерком.

– Чего писать-то?.. По делу, что ль?

– По делу, Борис Фёдорович, по делу. Пиши:

Справка

дана солдатской вдове Матрёне Шамсутдиновой в том, чтобы ей не позднее 1 августа каждого года привозили дров на зимний обогрев в достатке. Да не комлей кручёных, а колотых берёзовых, коими у меня, председателя, завалено всё подворье на сто лет вперёд.

– Ну, Егор, головой ответишь за самовольство своё, зазря стараешься!

– Э, председатель, нет такой радости, которая не сложилась бы на печаль. А ну, бери ручку, пиши дальше.

– Чего писать-то?

– Значит, так: «Письмо к Пиночету».

– Не дури, Егор. С энтим не шутят.

– Пиши, иуда! Пиши, коли жить хочешь. Готов?

Письмо к Пиночету

Здравствуй, ваше превосходительство, далёкий друг и соратник! Спешу обрадовать тебя, что советская власть в селе нашем Парамоновке разрушена до основания. На фермах и на скотном дворе процветают алкоголь и коррупция. Управ-

ляющий Бродский Микола Исаевич – вор и разбойник. В разгар посевной укатил в Белокуруху лечить свои груди и муди...

– Написал? Лечить, значит, груди и муди.

А перед этим снарядил своему сынку-кооператору очередной фургон с колхозным добром. Завскладом Мендубаев третьего дня сбаврил зареченским цыганам последнюю справную сбрую и хомуты, а агроном наш Венька Родионов допился до того, что сосёт теперь жижу из фляг, в которых у него середь избы бродит проросшая пшеница. Директора школы жена почитай каждый день бьёт утюгом по голове, и он, на радость ребятишкам, напрочь забыл закон Ома и таблицу умножения. Бабы наши, мой генерал, особенно бесхозные, совсем пришли в упадок, а те, у которых мужики в ЛТП, гуртуются в кучу и подбивают других организовать возле конторы путч, требуют запретить водку. Как у вас с этим делом, ваше превосходительство? Ежели надумаете – приезжайте в колхоз, у Антипа Фомина первач стоит ещё с Успенья, как детская слеза.

– Что, – усмехнулся Егор, глядя, как наливаются кровью дорофеевское лицо и жирные уши, – думаешь, я не знаю, что Антипка спецзаказы по ночам гонит для вашей хунты, с изюмом, да с отборного зерна? Вы мильтона своего завсегда на тех науськиваете, у кого ещё совесть светится, а мимо Фоминой бани, которая каждый день топится, он пулей проскакивает, потому как свою фляжку той же Антипкиной амброзией заряжает. А мы с мужиками всё думаем: что это у Фомича каждый день баня топится, а шея грязная? Так что не скрыжищи на меня глазами, а пиши своему дружку в Латинскую Америку: так, мол, и так, ваше превосходительство, хлопот так много,

так много, что приходится воровать по ночам. Да пиши разборчиво, я одну копию ещё в ООН отправлю. Так... на чём мы остановились? Ага, вспомнил:

... воруем, значит, в основном по ночам. Надоумь, далёкий друг, что делать, голова моя кругом идёт. Хучь и хорошо у нас прут дела, да всё как-то боязно: вдруг Рассея очнётся с похмелья, тогда как? То-то и оно, брат. А за сим – бывай здоров.

Подпись: председатель местной хунты, пуп земли Дорофеев с сунругой Ритой. Жду ответа, как соловей лета.

– Борька... А-а-а, да это что же это делается, люди доб-рья-я-я... – завопила вдруг, зашлась на старинный лад очнувшаяся от ступора привозная районная жена Дорофеева – осьмая дочь фининспектора Листоедова, известного в народе под кличкой Глистоед.

– Чего же ты, идол окаянный, хромаря этого терпишь! – завизжала она, перекрывая выступающую по сельсоветскому радио Людмилу Зыкину. – Бей его прямо по цыгарке, фронтовика задрипанного, гольтьбу безродную-ю-ю!!!

– Чегой-то не спешат к вам люди добрыя-я-я, – усмехнулся Егор и, видя, как по-тигриному подобрался председатель, тихим голосом осадил его: – Сдай назад, Фёдорович, и затолкай своей сплетнице язык поглубже.

– Борька, – завопила опять Дорофеиха, в ужасе показывая пальцем на Егора, – дак ведь он кого-то из нашенских уже убил, рубаха-то в крови!..

– А теперь вспомни, Борис, как мы с тобой в школу бегали. Где она теперь, наша милая школа? Руки на стол, сукин сын! Вон они как у тебя ходуном ходят – ведь эту

школу дорогую, из которой вся наша деревня вышла, вы заживо с директором-пьяницей растерзали. Одного жезла с крыши тысяч на десять дачникам сплывили! А ведь её старики из томлёного строевого леса ставили, она б ещё три века ребятишек просветляла. Вот и выходит, что ты один деревне нашей столько вреда причинил, сколько б немцы, если б дошли до нас... Становись к стенке!

– Егор, Егор Сергеич, не губи ты нас, мы с тобой же пацанами... сызмальства, говорю, завсегда... слышь, в ночное... помнишь, в ночном... А хочешь – деньгами? Я денег дам и слово крепкое... На коленях прошу, вот крест свят!

– Сладко в рот, Борис Фёдорович, да горько в глот. Да и не верю я тебе: кто много врёт, тот много и божится. А деньги... ну-ка, дай сюда, я их бабам вдовым раздам, вернее – назад отдам с поклоном, ежели возьмут, конечно, от тебя, поганца.

На улице затыкала собачонка, и Дорофеев, достав из портсигара прыгающими руками стопку десяток, подравнял их с боков заскорузлым пальцем и, смачно плюнув в верхнюю бумажку, бросил на стол:

– Накось, возьми, бес хромой, пьяница, сука одноногая... В тюрьме сгною!!!

– Ладно кобелиться, – примирительно кивнул Егор, направляясь к окну. – Мы с тобой азбукой морзей три годочка перестукиваться будем. А опосля я домой, в Парамоновку, а ты ещё семерик баланду хлебать будешь за поругание денег и оскорбление Ильича, – тихо закончил он и, видя, как зашедшая в истерику Дорофеиха, направив на него острие переходящего знамени, приготовилась к атаке, вдруг посмотрел на них такими тяжёлыми глазами, что те невольно отступили к стене.

– Вот так и стойте, гниды сельсоветские. Я пошёл, а вы, крысы жирные, сидите тихо под красными знамёнами ровно час. А а ежели пошевельнётесь – знайте: у меня здаи панорамная финтригация и диарамный оберсфюрт – вмиг разнесу!

Сидя в танке, Егор сквозь прорезь прицела совсем близко от себя увидел их серые глупые лица и, отгоняя от себя нестерпимое желание давануть на гашетку, лишь слегка повёл дулом на того и другого и резко отъехал...

Пройдя за огородами до старой заброшенной кузницы, Егор свернул в проулок, тихо вливавшийся в зачарованную магазинную улицу, и тут увидел, что навстречу ему по сухой белёсой дороге, слегка покачиваясь и разбрасывая погнутых ошалелых куриц, движется похожий на бешено крутящегося пьяного горбуна приземистый кручёный воздух. Несколько раз он отклонялся к легостаевскому плетню, вытрясая душу из одуванчиков, и наконец, тяжёлый, распухший от подобранной золы, вернулся на дорогу и, уже не сворачивая, пошёл на Егора. Позади него механически бежал сосредоточенный чёрный пёс, а за ним – на грязном «Белорусе» и сам хозяин – молодой зажиточный мужик Фёдор Легостаев, окутанный до зелёных глаз медной щетиной. Сквозь надвигающийся пыльный ветер Егор заметил, как ловким заученным маневром Фёдор аккуратно притулил прицепную тележку супротив калитки, быстрёхонько рассупонил ближний борт и, снявши за уши тяжёлую флягу, попёр ее в сарайку.

«Во даёт!» – успел подумать Егор, но в это время бродячий ветер с таким ожесточением накинулся на лобовую броню, что Егор невольно отклонился на сиденьи.

На шум танкового двигателя из сарайки, обтирая руки об замусоленные штаны, высунулся Фёдор, через минуту, нарочито строжась, выгнал на волю супоросную свинью и подсвинка с мокрыми от обрата харями, потом, цыкнув на вьющегося по двору молодого кобеля, взялся было перетаскивать в садик из-под навеса подновлённые ульи, но, увидев спрыгнувшего на землю Егора, остановился посреди двора:

– С войны, что ль, едешь, Егор Сергеевич?

– Еле жив ушёл, Фёдор Акимыч, до того жарко было, что до сих пор мороз по коже. А тебя чой-то не видел, проглядел, видать, в горячке.

– Да меня, Сергеич, в последний момент из Ставки отозвали. Оставайся, говорят, Фёдор Акимович, в тылу, налаживай снабжение снарядами. Без тебя, говорят, кранты, – в тон Егору ответил хозяин, стараясь незаметно прикрыть дерюгой початый мешок с комбикормами.

– Вот оно что... А я сначала не понял, кого благодарить... Смотрю, значит, в самый нужный момент присылают нам колхозные фляги, а во флягах, значит, – снаряды, и на каждом надпись: «От Фёдора Легостаева. Смерть кулацкому отродью!»

Фёдор понимающе ухмыльнулся и хотел было вернуться подначку, но, приглядевшись к Егору, вдруг понял, что тот совершенно трезв.

– Ты что, дядя Егор, с ума, что ли, сошёл? Какие снаряды?

– Вот те на... Ты что ж, до сих пор не знаешь? Богатые мужики в соседнем Карачаевском уезде восстание подняли! Не хотим, говорят, мантолить на чужого дядю! Надоело воровать из-за угла! За землю, говорят, за волю! За

лучшую долю!.. Ишь, Фёдор Акимович, как у тебя глаза-то разгорелись! Зазря в сарайке просидел...

– Мать честная! То-то я гляжу, Егор Сергеевич, у тебя кровь на рубашке выступила...

– А ты как думал? Богатые мужики – народ серьёзный, – Егор испытывающе взглянул на хозяина, – с вилами наперевес, дорогой мой, шли... Да оно и понятно: ежели я, к примеру, начну у тебя из сарайки колхозную мучку выгребать, а за одним и фляги с обратом, да комбикорма, да шифер, что на повети соломой присыпан, да котёл из клубной кочегарки, да хомуты с остатней сбруей, что гниют без дела в курятнике, так ты мне на рубахе-то пятачкомыми вилами живого места не оставишь да напослед ещё под косилку положишь, а язык мой, чтобы я не разболтал, что у тебя в подполе церковная утварь закопана, ты мне до самого дыхала клещами вырвешь, которые из колхозной кузни у свояка своего Гришки Зюзюкина спёр. Ты бы, конечно, и меха с собой прихватил, да не знаешь, куда их приспособить. А я тебе зараз подсажу: эти самые меха надобно подставить тебе к одному месту и качать до тех пор, пока у тебя из души через рот всё говно не вылетит. А за сим – вынимай своё добро из сарайки по-хорошему!

Егор шагнул в калитку, за грудки притянул к себе хозяина:

– А ведь ты, Фёдор, сейчас, вот в эту самую минуту, запросто можешь меня порешить на месте – по глазам твоим страшным вижу.

– Да уж будь спокоен, Егор Сергеевич, ежели надумаю – от своо не отступлюсь. И не хер меня по динамику воспитывать.

Егор устало махнул рукой, пошёл к калитке, но Фёдор догнал его, рванул за плечо:

– Что ж я, по-твоему, шаромыгой должен жить? У тебя ребятишек-то нет, живёшь как конь без паспорта, на вольной воле. Один ты у нас такой завёлся!

– Какой?

– Против шерсти живёшь, вот какой! Что молчишь? Невпротык против правды? То-то и оно: либо совесть, либо рубль.

– А это мы сейчас проверим, – Егор достал пачку до-рофеевских ассигнаций, положил на ладонь – угощайся, Фёдор Акимыч. Бери, бери, не стесняйся! Эти деньги советская власть у одного мироеда отняла, тут и ваша семейная доля есть.

– Уйди, дядя Егор, по хор-р-рошему прошу!..

– Да я-то уйду, только куда ты сам от себя-то денешься? Коли у тебя уже сейчас душа плешивая, много ли она протянет в запустении, в твоей «системе»? Ты и детей своих в скоты затынешь, в навозный свой рай, в концлагерь счастливой жизни.

Егор взялся за скобу, посмотрел на Фёдорову свинью, развалившуюся в тени танка под гусеницей, грустно сказал:

– А хочешь, Легостай, я судьбу твою предскажу? Помнишь ли ты за деревней, по Мартыновской дороге, сосна одинокая стоит? Вот когда совсем скурвишься и постареешь и когда тебя дети твои красномордые из дома выбросят – будешь ты сидеть под этой сосной и говорить всякому прохожему: «дай мне что-нибудь...»

Егор ласково смотрел на синичку, трепетавшую на конце дула, дожидаясь, когда можно будет тронуться с места.

В конце переулка он притормозил. Во рту пересохло, хотелось пить, и он уже решил было свернуть к колодцу

Алоиза Курца, но тут из-за плетня вырулила бабка Шульгина с маленькими цыплятами, да так и осталась стоять на дороге с коричневой рукой на сердце, и на её лице, похожем на потемневшую икону в платочке, Егор впервые за многие годы увидел быстрый вопросительный огонь.

– Здравствуй, Васильевна. Чего, как девка, скраснела, аль не того ждала?

– Егорий? Тьфу, жиган, заморозил старуху! Я сначала-то не признала тя в шапке чёрной, думала Павел мой с Воронежского фронту катит, подзадержался малость... Эх, Егор-Егорушка, была б твоя Марья жива, она б тебя зараз своими ясными глазами протрезвила. В танке не сгорел, так от водки запылаешь, помяни моё слово... Поглянь, сколько мужиков путёвых по деревне полегло... Давно ль Семёна Шаповалова схоронили? А в прошлом году Фёдор Силантьев утоп, Иван Очара застрелился. Васька Худолапов на тракторе перевернулся, Митрий Голошумов в петлю залез – баба ему, вишь, тройка не дала на тошниловку... Анька Фадеева опять же в тую зиму груди обморозила, ноги чёрные были, эвон на култышках к сельпу хромает. Кака с неё теперь женщина? Испакостил-ся народ, как есть испакостился.

Бабка участливо взглянула на Егора:

– А ведь ты, сынок, раньше вроде так не пил... всю подряд?

– Я, тётъ Наташ, сам промах дал. Не надо было мне солдатский ремень снимать. Как рассупонился, так все сорта и полезли. А в мужиковском брюхе, сама знаешь, и долото сгниёт.

– Ох, Егор, Егор... – она провела ладонью по броне: – Погодь, я тряпочку вынесу, звёздочки протру. Далеко ль едешь-то?

– На войну, Наталья Васильевна...

– Храни тя Господь, Егор Сергеевич, прощай, коли так. Вот бедокур, вот бедокур – горестно закачала она головой, крестя сухими пальцами отъезжавшую машину, но Егор уже не слышал её...

Выйдя на сельповскую, проутюженную до тополёвых корней дорогу, он увидел торопливо извивавшуюся в сторону магазина Фадееву Анну – тридцатилетнего, страшной сосредоточенности, тёмнокожего человека в сержантском кителе, наброшенном на престарелое платье, с обутыми в детские боты обмороженными культями. В одной руке у неё был костыль, которым она иступлённо гребла к магазину, в другой – намертво зажатые в трёхпалой ладони потные деньги. Егор помнил её с косичками, ладную, стройную, пригожую, когда, смеясь лучистыми глазами, она вместе со школьными подружками пела, а потом делала в клубе «пирамиду» в честь пятилетнего плана.

Он закурил и, увеличивая скорость, обошёл Анну, стараясь в рёве дизеля заглушить её звенящий в ушах далёкий детский голосок:

...Ехал милый из Романова с возам,
– Здравствуй, милая, хорошая, – сказал. –
Бог на помощь, ненаглядная,
Почему ты не нарядная?
– Потому не нарядилась –
За водой поторопилась.
Я сегодня угорела, не могу,
Пролежала весь денёчек на лугу,
На лугу да на шелковой на траве,
Не блестит моё колечко на руке...

...Егору стало страшно, когда он вспомнил, как прошлогодней лютой зимой, возвращаясь по переулку, он увидел соломенный кляп, порывом ветра подкатившийся ему под ноги. Он поднял его и, поискав глазами, увидел в окне забураненного фадеевского дома клубящуюся дыру. Перед тем, как вставить кляп, он заглянул в разбитое стекло, и сердце его закричало: на полуголой кровати, без подушки, в грязном тряпье лежала маленькая девочка, а двое других – пятилетняя Санька и ясноглазый, с пергаментным лицом Костя, нарезав ломтями картошку, сосредоточенно пекли ее без сковородки на ржавой плите и кормили годовалую сестричку.

Саму Анну, пьяную и обмороженную, бабы нашли в сугробе возле заброшенной пекарни, а через два месяца, по весне уже, она вновь объявилась в Парамоновке и, методично подпирая иссушенное тело городскими костылями, прямо с перевоза подалась в сельпо, где, дождавшись затишья, вползла на крыльцо и, нажимая на Шпачихину жадность, вырвала у неё чекушку водки за десять пачек бинтов и мазь Вишневского, которые та, сопя и поджимая красноплёночные губы, тут же утащила в подсобку, на ходу прикидывая, кому бы перепродать втридорога сей экзотический товар.

Обогнав Анну, неумолимо приближающуюся к магазину, Егор вдруг внутренне подобрался, успокоился, словно только сейчас, при виде этой несчастной женщины, раз и навсегда решил для себя что-то такое, от чего уже нельзя было ему отступиться...

Ворвавшись на сельповскую площадь, Егор обошёл слева покосившуюся сторожку, поравнялся с коновязью, на которой одиноко висели забытые волосяные путы, и

резко, со стоном разрывая загаженную окурками и блевотиной, потерявшую всякий смысл магазинную землю, развернулся грудью к большеглазому зданию сельпо с красноватыми, опухшими от заходящего предвечернего солнца равнодушными окнами.

Егор хотел было встать, но внезапная широкая боль, разом заполнившая грудь, наклонила его вперед, и он, ударившись головой о приборную доску, замер, не в силах поднять с пола упавшую фотографию или хотя бы убрать подальше от нежного девичьего лица свои тяжёлые сапоги. Какое-то время он просидел, не шевелясь, дожидаясь, пока горячая волна отхлынет от сердца, и сожалея, что у него нет под рукой чего-нибудь холодного, кроме медунок, чтобы приложить к груди...

На рев танка из магазина с мокрой тряпкой в руках выскочила перевитая жилами косоглазая уборщица Тоня, а за ней, зорко вглядываясь из-под притаившегося полуседого лба, на крыльце нарисовалась старая сплетница Катерина Сундукова – бывшая женщина облегчённого поведения. Сундучиха – покровительница всех родов войск – по привычке выдвинула было вперёд свою заслуженную грудь, но, узнав в усталом танкисте Егора, всплеснула руками и бросилась обратно в недра магазина.

Егор вытер пот со лба, расстегнул рубаху, закурил. Боль ушла куда-то в заплечье, будто свежий ветерок обдул её с груди, и Егор, глядя на Тоню, заговорщицки подмигнул:

– Что, Антонида, никак прокатиться хошь? Валяй, до самой армии доведу, но допрежь беги к завмагу да скажи, чтобы немедля всю водку до последней бутылки перед крыльцом выставил. А ежели через пять минут не управится – разнесу ваше гнездо к чёртовой матери!

Егор загасил папиросу, спустился в боевое отделение. Нагнулся, поправляя соты боеукладки, ласково погладил казённик и, отерев пот, прильнул к прицельной рамке, в которой в лад дизелю слегка подрагивало крайнее сельповское окно с выпученным лицом Шпачихи. Не отрываясь от прицела, Егор подал ручку реостата влево, слегка развернув башню, вывел ствол в горизонтальное положение и, поймав в перекрестье выплывшего на крыльцо барина – пышного молодого вельветового мужика с головой пуделя, мягко остановился.

Лязгнул замок, обнажив канал ствола, и Егор вдруг увидел, как завмаг, сглотив слюну, начал медленно поднимать руки вверх. Егор от удивления остановился, потом сплюнул под ноги и, захватив в командирской рубке мегафон, лежавший рядом с портсигаром, спустился вниз, откинул люк механика-водителя и, с трудом сдерживая ярость, закричал:

– Ахтунг, ахтунг! Гутен таг, товарищ Гноев! Немецкойе командованье предлагает вам сдаться с овсьем гарнизоном нах ин германски плен. Ви ест долъжен сей момьент нести съюда русский водка. Ви будьете имьеть жизн! Бьегом, бьегом, абер нох айн маль, абер нох айн маль, шнель, селповский свиня!

Краем глаза Егор заметил показавшуюся в конце улицы хромоногую спешащую Анну и, уже не сдерживаясь, отбросив мегафон, крикнул бегущему с ящиком завмагу:

– Много там у тебя ещё, паук кладовочный?

– Последний, Егор Сергеевич, как есть последний, – пятясь задом и облизывая губы, доложил завмаг. – Одна червивка осталась, тащить, что ли?

– Пулей, товарищ Гноев, – и чтоб до последней бутылки!

Не успел вельветовый гноевский зад исчезнуть в магазине, как до Егора донеслось поскрёбыванье и покашливание. Выглянув, он увидел, что в его сторону, маскируясь за гусеницей, сгорая от любопытства и распирающей её тайны, пробирается Сундучиха, поманывая к себе Егора и одновременно прикладывая палец к подкрашенным губкам, похожим на давным-давно развязанный кем-то альый бантик.

– Ложись, Семёновна, начальник бежит, – шепнул Егор.

Сундучиха бухнулась на землю и, переждав топот, короткой перебежкой добралась до Егора:

– Слышь, чо скажу, Егорий! Ты энтому Гною не верь, у него под матрасами магазинными коньяк французский с консервами лежит да ящик рому с острова Свободы – они с Бродским-сынком по ночам за картами из бычачьего рога дуют. Ишь, у нашего удава глаза-то которы сутки как у кролика... А мы с Тонькой бутылку-то лизнули – сладкий, стерва, только язык щиплет. А ситцу, а ситцу-то в подсобке фуфайками завалено: и набивного, и в горошек, и с красной ягодой... А за ларями доска выдвигающая есть, так там – видимо-невидимо: и полотенца китайские, и кофий самый чёрный, и туфельки модельные, большевицкие, на низком подборе, а на самом дне книжка потайная какого-то Солженицина кирпичом придавлена. Ох, дела-дела... А наемни...

– Тсс! – шепнул Егор. – Замри! Никак барин ваш пустой топаёт, сейчас божиться будет. Ретируйся-ка назад, на исходную позицию, не то они тебя с довольствия снимут. А от Советской Армии – благодарность тебе, Катерина Семёновна, и презент...

– Что ты, не нужен мне никакой брезент! Ты лучше скажи: много ль у тебя мужиков-то в экипаже сидит? – Сундучиха придвинулась к Егору, напирая жаркой грудью на броню, но заметив завмага, всполошилась: – Ой, мамочки, и вправду Олег Агдамович бежит...

Завмаг, успевший сбросить вельветовый пиджак, утираясь пёстрым галстуком, спешил к Егору в пропотевшей, с мокрыми разводами рубашке, поверх которой в такт измазанному пузу дышал светлый золотой крестик.

– Всё?

– Всё...

– Покажи руки, – приказал Егор. – Сними перстни и кольца, кроме венчального. Нет, не сюда. Не сюда, говорю. Положь на землю, возле ящиков. Уходи!

Егор захлопнул люк, чуть спятился назад и, оглядев тысячеградусную грудю ящиков, с разгону бросил машину в её жидкое пекло.

Он ничего не слышал и не видел: ни полных слёз и ужаса глаз Антонины, ни хохота Сундучихи, ни воя прибежавшей с заржавленным огнетушителем и в слепой, бессильной ярости колотившей по нему кулаком Шмачихи, ни перекошенного от жадности и страха лица завмага Гноева, пытавшегося выхватить из-под танковых гусениц комок грязи с перстнями и кольцами, ни измождённого похмельным страданием, с выключенным светом, лица Анны, из последних сил гребущей к магазину. Никогда в своей жизни не плясал Егор по-пьяному делу и вот не выдержал: трижды, закрыв глаза, выходил на круг и, склонив к рычагам седую голову, вколачивал в безродную магазинную землю бутылочный зелёный перепляс, в страшных разворотах загонял визжащее скользкое стек-

ло под кожу дороги, метался в потоках вонючего вина, которое дико шипело и испарялось, попав на разогретую моторную группу, и, наконец, тяжело проутюжив мокрое кладбище бутылок, остановился посреди пузырящихся луж алкоголя: пей, русская земля, пей за упокой парамоновских мужиков, а заодним и за погибшую душу Егора Журавлёва, аминь!

Он поднял голову, откинул крышку люка. Прямо на него, встав на четвереньки и урча от удовольствия, ползла Анна, поминутно наклоняясь к гусеничным ямкам и вылизывая их до самой земли. Кое-где ей попадались остатки бутылок, и она, дрожа от нетерпения и жадности, тут же отправляла в сморщенный рот уцелевшее хлёбово, ища глазами очередную порцию. Время от времени она отрывалась от земли, беспокойно и ревниво озиралась по сторонам, готовая дать отпор всякому, кто польстится на её добро. В один из моментов, отгоняя приступом лаявших на неё собак, Анна вдруг замерла, словно только сейчас заметила, как быстро уходит от неё в землю дармовая водка. В отчаянии она бросилась к самой большой ямке, припала к ней нечистым жадным ртом и долго пила про запас, через силу, содрогаясь всем телом, а оторвавшись, поползла к новой лунке. Она уже сильно захмелела и, потеряв костыль, несколько раз падала лицом в грязь, но, поднимаясь, снова и снова ползла вперёд на окровавленных коленях, волоча за собой мокрые спущенные чулки.

Егор, не отрываясь, как зачарованный смотрел на приближающуюся Анну и, когда она подползла вплотную, начал тихо отступать перед ней, не смея загораживать выбранную ею дорогу...

С траков и катков на землю капала водка, и она, уже мертвецки пьяная, погружая искалеченные руки в жижу,

судорожно икая, черпала и наливала её в карманы кителя, а с распущенных белокурых волос на грудь стекала жидкая грязь.

«*Бог на помощь, ненаглядная, почему ты не наряженная?*» – вспомнилось Егору, но, встретившись нечаянно с её страшными голубыми мёртвыми глазами, он не выдержал: тихо опустил перед ней крышку водительского люка, рывком отъехал к коновязи, развернулся. Дуло танка, прочертив полукруг, снова замерло на магазине, возле которого, как на семейной фотокарточке, застыли Антонина и Шпачиха с нелепо прижатым к штапельному пузу огнетушителем, а за ними – фюрер Гноев, зло смотревший, как сестра милосердия 122-го отдельного стрелкового полка Катерина Сундукова, отодрав Фадееву Анну от грязи, несёт её тело к магазинному забору, на зелёную тёплую траву.

Егор шёл на малой скорости по узкой улице, невидящим взглядом скользил по палисадникам и заборам, не замечая, что следом за ним на расфуфыренной дешёвой легковушке крадётсЯ Гноев. Убедившись, что танк пошёл по прямой, завмаг тут же юркнул в Воробьёвский переулок, ведущий к сельсовету. Старая дворняга, на секунду оторвавшаяся от косточки, вдруг дико взвизгнула и, словно подброшенная какой-то дьявольской силой, глухо рыча и завывая, в мгновение ока скрылась в подворотне: на заднем стекле гноевского «запорожца», раскачиваясь в такт движению, беззвучно болталась страшная пластмассовая рука, а ещё через минуту при полном безветрии на дороге вдруг появился столб пыли, свернувший в тот же переулок.

Хлопнула дверь почты, выпуская на волю бабку Васёну, приходившую, видать, за своим ежемесячным мизе-

ром, а за ней, на ходу засовывая в внутреннюю карман целлофановый свёрток, на подневольную землю спустился парторг Налимов.

Егор потянулся за папиросой, ломая спички закурил.

Дорога слегка вильнула, огибая стоящий на приколе старой кузни давно разбитый и разворованный «ДТ-54», опять пошла петлять между заборами. Налимов, почуяв недоброе, время от времени оборачивался на неотвязно следовавший за ним танк, всё прибавляя и прибавляя шаг, но Егор по-прежнему шёл на малой скорости, лишь слегка опустив дуло на уровень человеческой груди, а однажды, когда начальник остановился обтереть лысину, Егор мягко замер на почтительном расстоянии. Когда они снова тронулись в путь, Егор внезапно рванулся вперёд, и ему показалось, что даже сквозь бешеный рёв двигателя в его уши проник пронзительный визг обезумевшего парторга. Огромными прыжками тот мчался впереди танка, изредка кидаясь из стороны в сторону, чтобы заскочить в чью-нибудь ограду, но Егор был начеку и вовремя отсекал его от калиток. Лишь однажды он сознательно отпустил его к тянувшемуся по правую руку на добрые сто метров зелёному забору закадычного налимовского друга Бродского, но в этом замечательном, в этом распрекрасном заборе, как назло, не было ни одной щели, калитка заперта на внутренней засов и на немецкую овчарку, а поверху шла нарядная колючая проволока.

Опять стал накрапывать дождь. Мелькавшая в триплексе фигура начала понемногу увеличиваться, приближаться – Налимов явно устал. Он давно уже потерял шляпу и полуботинки, но по-прежнему цепко придерживал

одной рукой нутряной карман, а другой на ходу подтягивал спустившиеся, путавшиеся в ногах кальсоны.

Сразу за прекрасным забором шла заброшенная мо-локанка с перечёркнутыми сосновыми горбылями грустными окнами, в которые, встав на цыпочки, заглядывала молодая крапива, а ещё чуть дальше дорога, слегка поднимаясь, вела к разрушенной до основания неполной средней школе, перед которой на небольшом зелёном пригорке когда-то улыбалась церковь, а теперь беспробудным сном спит похожее на ферму длинное покосившееся здание клуба. Налимов несколько раз на ходу оборачивался, сверля обезумевшими от страха глазами лобовую броню и, видимо, разглядев наконец на башне звёзды, дважды принимался размахивать какой-то красной книжечкой, что-то отчаянно вереща и жестикулируя, но Егор, не обращая внимания на корочки, гнал и гнал его вперёд. Выскочив на волю, Налимов стал забирать влево, к изувеченному школьному саду, но вдруг остановился и, подтянув кальсоны, кинулся к клубу, наступая на дико взвизгивающих свиней, валявшихся возле крылечка в тёплой майской луже. Егор приглушил мотор, нагнулся за топором.

...В полутьме он запнулся о поваленную лавку, и ему показалось, что на этот нечаянный шум по всему залу началось какое-то шевеленье и постукивание. За спиной кто-то тяжело вздохнул. Обернувшись, Егор увидел здорового старого козла, смотревшего ему прямо в лицо равнодушными золотыми глазами, придававшими его персидской физиономии выражение надменной снисходительности: мол, зря пришёл, товарищ Журавлёв, кина не будет.

– Ай да Фома, да ты никак в завклубы подался? Ловко, брат, устроился. В стороне, так сказать, от кипучей жизни. А бабка Васёна с ног сбилась, думает, что туристы твои косточки под гитару доедают. Ну, показывай, куда запрятал своо родственника, товарища Налимова!

Фома, склонив набок ушастую голову, любезно слушал Егорову критику, но когда тот шагнул в его сторону, седобородый патриарх ловко увернулся и, густо сыпая из-под хвоста твёрдые чёрные орешки, подался вглубь зала, где, встреченный растревоженным козьим обществом, для порядка на ходу поддел рогом молодого соперника, одним махом вспрыгнул на сцену и, оглядев всех пристальным офицерским взглядом, улёгся под столом президиума, предварительно высыпав возле трибуны последнюю порцию горошка. Под обшарпанными стенами валялись покуроченные лавки, клочья плакатов, где вперемежку с красноносими алкоголиками лежали чернобровые рабочие, развесёлые, сытые крестьяне, а на одной из комсомолок, с устремлёнными к солнцу глазами, нахально развалился злейший классовый враг – преподобный дядя Сэм, для которого, как известно, нет на свете ничего святого.

Внизу лежала время от времени хрюкающая в автоматическом режиме старая пышная свинья, напомаженная грязью. Тут же на загаженном, залузганном семечками полу валялись разбитые пластинки, растоптанный осклизлый огурец и женские трусы – Егор едва удержался, чтобы не плюнуть под ноги, – вовремя вспомнил, что когда-то в этом месте располагался алтарь. Поднявшись на сцену, он отворил дверь в боковую комнату, где у окна, выходявшего на другую сторону клуба, за сваленными в

кучу красными транспарантами сидел, пожирая весенний форточный ветер, вождь парамоновской парторганизации Налимов.

Егор тихо тронул его за плечо:

– Вставай, Иван Иванович, пойдём, я тебе голову отрублю.

Поскуливая, Налимов ещё сильнее вцепился в батарею, всхлипывая всем туловищем и быстро облизывая красные пухлые губы.

Егор с удивлением разглядывал его маленькие волосатые ручки, отвратительный, откинутый назад вьющийся лоб и всё его лицо, покрытое испуганной вспотевшей кожей, – словно только сейчас впервые до него дошло, что, проживи они ещё сто лет в деревне, наверняка никогда не подошли бы друг к другу. Оттого, видать, земля русская так просторно устроена, чтобы можно было Журавлеву с Налимовым ходить по ней не пересекаясь.

Егор присел на стул, закурил:

– Славно ты, Иван Иванович, бегаешь. От кого драпал-то?

– Когда?

– Как – когда? Только что.

– Ошибочка вышла, Егор Гордеевич, я уже два часа здесь сижу, к докладу готовлюсь.

– Вот оно что, – удивился Егор, оборачиваясь на скрип двери, в которую протиснулась вопросительная сивая морда. – Выйди вон, Фома, мне Ивану Иванычу пару слов задать надо. Скажи, дружок, ты хотел бы стать вольной птицей? Что молчишь?

Налимов тоскливо смотрел в окно, в голубой спокойный воздух, лежащий на ветках тополя, на чёрную

обрюзгшую ворону, невесть откуда взявшуюся и теперь строго взиравшую на него с ближней ветки, и сердце его, гулко колотившееся о чугунную батарею, вдруг замерло, а потом высоко взлетело к горлу, выталкивая застрявшие слова:

– С женой, что ли?

– Ты дурачком-то не прикидывайся, Налим Иванович. Летишь аль нет?

– Уж и не знаю, право, разве что в райцентр сгонять да в торг заглянуть: говорят, бачки сливные болгарские выбросили, – Налимов опять покосился на ворону. – Да что-то боязно: в тамошней очереди быстро клюв обломают...

– У тебя же Алевтина на базе работает.

– Врут, Егор Савельевич, как есть врут. Давно уже в Оперный перевелась...

– Ловко. А младшая? Всё в потребсоюзе колотится?

– Замужем. За депутатом-с.

– Ишь ты... А Венька?

– Сексолог-с.

– А учился вроде в ПТУ на слесаря-сантехника-с?

– Ох, народ, ох народ, и откуда чо знают... Его, про-между прочим, и в собес, и в органы, и в народный контроль звали, но он у нас гордый: сказал сексологом – значит, сексологом.

– А ты, значит, идеологом? Ну так скажи мне, голубчик, когда у нас Ленин родился?

– Как когда? Ясно дело... Эт кажный знает. Про Ленина хучь кого спроси, кажный ответит. Ну и чудак ты, Егор Борисыч...

– Ну так и скажи!

– Про Ленина, что ль?
– Про Ленина, про Владимира Ильича.
– Ну так ясно дело: до революции, значит, родился. Не в этом веке ишо.

– Правильно, Налимыч! Да ты сядь, сядь, не волнуйся. В самую точку попал. А вот в каком году был II съезд РСДРП?

Налимов, не ожидавший повторного удара, выпучил глаза, лихорадочно забегал ими по наглядной агитации, но не найдя ничего подходящего, тяжело вздохнул:

– Да, брат ты мой, ну и летит же времечко, ох и летит... Пора и нам собрание собирать... А у меня, знаешь, как сердце чуяло, пойду, думаю, в красный уголок, замастрячу людям доклад...

– А маму твою как звали? – тихо спросил Егор, вглядываясь в налимовское лицо. – Неужели и здесь скартавишь?

Налимов отвёл глаза, грязной дырявой шторинной машинально вытер отлогий лоб, но вдруг встрепенулся и бросился к окну, завидев бредущую по бездорожью памятную фигуру школьного директора Медведьева:

– Марат Антоныч, Марат Антоныч, подь сюда!

Через минуту в распахнутом оконном проёме показалось опухшее директорское лицо, густо прошитое на щеках и по носу красными склеротическими нитками, какие бывают у запойных людей, а на лбу, расчерченном в косую линейку, расплылся чернильного цвета внушительный синяк.

Он долго смотрел на Егора, чему-то бездумно улыбаясь и тыча сигарету в разбитые, с белыми обводьями, спёкшиеся губы, потом, поймав глазами мельтешившие

го перед ним Налимова, вдруг притянул его за отвороты пиджака и, елозя скользкой налимовской мордой по подоконнику, закричал:

– Послушайте, парторг!
Отверженным быть лучше, чем блистать
И быть предметом скрытого презренья.
Для тех, кто пал на низшую ступень,
Открыт подъём и некуда уж падать,
Опасности таятся на верхах,
А у подножий место есть надежде...
Ещё зимой, зазвав меня с похмелья
И опоив какой-то мокротой,
Обманом завладев моим дипломом
Под номером сто тысяч двести пять
Для сына своего Вениамина
За три бутылки мерзкого вина,
Ты погрузил мне сердце в ад кромешный
И честь мою ногами растоптал.
Верни диплом! Не то об подоконник
Лицо твоё сотру на порошок.
И перестань мне щупать семиклассниц
По-за углам, и деньги нам верни,
Что дети заработали на поле,
Слюнявый бес, сорняк, дерьмофродит!
Благодари Егора Журавлёва –
Не то б давно я жабры пережал –
Он слишком совестью натуря.
Даю тебе отсрочку, пёстрый вор,
Но буду ждать сегодня до заката.
Прощай, милорд, и помни уговор!

Напоследок директор смачно плюнул на подоконник, тщательно растёр его мордой противника, который отчаянно барахтался, пытаясь выкарабкаться из-под завернувшегося на голову и душившего его пиджака, но в это время раздался треск, посыпались пуговицы, а вместе с ними на подоконник вывалилась здоровенная пачка денег, завёрнутых в целлофановый мешок.

– А! – торжествующе заорал Медведьев, бросаясь к деньгам и стараясь выдрать их из намертво сомкнувшихся пальцев парторга. – Никак на почту собрался, Налимушко, сексологу своему на гараж наворовал... Зря ста... зря стар-р-раешься – почтальонша в город укатила, одна Маняшка конвертами торгует... В-в-вот они... денежки наши пионерские... чуть не уплыли к половому отпрыску...

– Получай! Получай! – визжал коротконогий Налимыч, ловко набрасывая на шею директора пыльный транспарант «Народ и партия едины!» и колотя его по грязным щекам целлофановым пакетом. – Вот тебе, вот тебе, господин Сухомлинский!!!

– У-у-у, – рычал Медведьев, стараясь подняться на дыбы, – по этапу пойдёшь: в районо, в гороно, в облоно!

На директорской голове, притянутой деревянным хомутом к подоконнику, как на часах «кукушка» следом за целлофановым пакетом взад и вперёд ходили маленькие маслянистые глазки, и в один из моментов, когда увлечённый экзекуцией мстительный Иван Иваныч потерял бдительность, Марат Антоныч с невероятной ловкостью на лету поймал сивушным ртом целлофановый мешок и с ужасающей быстротой начал втягивать его в себя. С диким воплем Налимов кинулся к своему врагу, вцепился ему в раздутые щёки, стараясь выдавить ещё не сожран-

ные деньги, но видя, что директор, выпучив вспотевшие глаза, продолжает на манер удава заглатывать наличность, Иван Иванович рванул к себе обеды целлофана с мокрыми вонючими деньгами и, как безумный, стеноя и вознося руки к небу, начал посыпать ими плешивую голову, в то время как его обидчик, которому свисавшие изо рта десятки придавали сходство с вурдалаком, огромными прыжками добежав до угла клуба, стал на колени и начал аккуратно выблёвывать добытые в бою купюры.

Егор тихо сидел на стуле, глядя, как непрерывно шевелятся в обшлюявленных бумажках волосатые бархатные ручки, которые столько раз простирал над загаженным ныне залом этот маленький, широкомордый, как бы вымытый целым куском мыла, прилипший к трибуне человек.

Перед глазами у него всё еще стояло тихое сельское кладбище, где лежало столько добрых людей, вековавших на этой ухоженной и обласканной их руками земле, которую теперь загадили, залили гноем эти заготовители жизни.

Егор поднялся.

– Ты видел, ты видел? – кинулся к нему Налимов.

– Нет, я не видел. Я был далеко.

– Не может быть! Неужто ничего?

– Совсем немного. Кое-что.

– Но ты ведь подтвердишь?

– Ещё бы! Во-первых, как ты, господин заготовитель, в нежных хромовых сапожках приполз к нам в сорок седьмом году понюхать, помнит ли кто в Парамоновке мягкозадного приезжего комсомольца, который вместе с активистом Легостаевым и сучкой Зойкой Марцевич

перед тем, как запалить церковь, «реквизировали» всё её имущество. А через годик после того, как ты осел у нас, уже с Боренькой Дорофеевым вы провернули первое дельце: анонимками и подлогами задёргали и затравили Алексея Трошина, которого непрерывно таскали в райком и в органы, а после его смерти подпускали на должность председателя своих дружков, в том числе и Бродского, который до этого развалил два целинных совхоза и базу «Сельхозтехника». В этот змеиный клубок вы вплели мильтона, которого закупили на корню, в контору посадили сына Глистоеда, в клуб – доносчика Стамескина, в школу – пьяницу Медведьева, в сельпо – Гноева... Сколько ж вы всего сожрали, разграбили, пропили, сколько хороших людей выдавили из села, загнали в землю, споили водкой, развратили, разуверили, обмазали дерьмом!.. Ну кто тебя всем этим гадостям-то научил? Неужто мать с отцом? И зачем ты этим гадостям приехал крестьян учить? Кто ты такой? Зачем ты сюда приехал? Что, они без тебя не знали, как зерно в землю бросать? Да они эту землю своими руками на сто ладов перетёрли... Об одном жалею: не сдогадался я сразу после войны на танке вернуться. Я б тебя, суку, ещё тогда под траки положил!

Егор поднял прислонённый к стене топор, нащупал под его железным кадыком щербинку, шагнул к Налимову.

...Невидящими глазами он смотрел на быстробегающую зелёную землю с кланяющимися ему из палисадников рябинами и на пыльную родную дорогу, с которой он, обойдя отца Григория, пытавшегося задержать его, свернул возле кузницы, и на большой скорости двинулся напрямик к сельсовету. Он шёл обратно по своему следу, и

лежащая внизу луговая земля опять задышала, рванулась ему навстречу, словно только его и ждала в своём бескрайнем, бесконечном одиночестве и тишине.

Почти не касаясь земли, Егор поплыл над нежной луговиной, взяв на прицел когда-то весёлый, а теперь ослепший от бесчисленных ставень дом с выцветшим сельсоветским флагом, но когда до него оставалось каких-нибудь двести метров, навстречу ему из слабой березовой рощи тихо вышла и заступила дорогу Мария.

«Кто всю жизнь в клетке живёт? – вспомнилось ему... – Неужто сердце?»

Егор откинул люк, поставил машину на самоход и пошёл навстречу Марии.

– Передай Настеньке. – Он протянул ей букетик медунк, улыбнулся. – Не поминай по лиху.

Прихрамывая, Егор вышел на дорогу, что вела через луговую низину к кладбищу и дальше – через леса уходила в бескрайнюю, бесконечную степь, откуда пришёл когда-то дед Иван и куда неотвратно падало и падало, увлекая за собой Егора, заходящее вечернее солнце, а следом за Егором, как привязанный, на малой скорости двигался по степной дороге танк...

* * *

Стихи мои – товарищам помин,
И иней хлад, и снег печален быти.
Очей зеницы влагою сокрыты
И снова увлажняются по ним.

Как будто наша общая душа
Уже дошла до горького предела,
Но к тем, кто ей бессмертье обещал,
Она уже безмерно охладела.

Там впереди зеро, дружок, зеро,
А здесь у нас последняя опора
Вся состоит из дружеского взора,
Где золото, и сталь, и серебро.

Не уповай на детскую броню,
Когда исчислен летоуказатель,
Аз верую и бережно храню
Средь всех очей лишь эту пару пятен.

Как топовой огонь на корабле
Горит кому-то ясно и сладимо,
Так и душа – прекрасна и людима,
Пока сама не помнит о себе.

* * *

Старики всё глядят на дорогу:
Не появится ль дочь или сын...
Пригорюнясь, помолятся Богу,
Ударяясь сердцем об тын.
Из троих – все закончили вузы –
Не приедет никто погостить.
Старики для них стали обузой,
Те поехали их навестить.
Собирались, набили гостинцами
Свои торбы, баулы, узлы,
И, светясь деревенскими лицами,
Оба сердца в Москву повезли.
А вернулись назад – оба черные:
Не пустили их дети домой...
Посидели на лавочке с торбами –
Оба сердца покрылись золой.
Побрели на вокзал одинокие,
Вспоминая, как дети росли,
Вновь смотреть возле тына под окнами:
Не пылит ли дорога с Москвы...

* * *

Покрести на дорогу мне сердце и сокола выпусти,
Отцвели васильки у тебя на высоком лице.
В час вечерний у рощи прощальной прощенье нам выпроси,
Где стонал соловей и дрожали огни на вц.

И за рощей за той, причиняя земле ожидание,
Осень красное платье снимает и дарит тебе.
Вот и будет теперь на лице у меня два страдания:
Как мне вас различать и кого мне любить в сентябре.

Серый гусь просвистит, словно свет собирает от сокола,
И сойдутся они над моей головой в небеси,
И перо упадёт мне под ноги с гусяного локона,
Чтобы я написал тебе мёртвое слово прости.

Пусть уж лучше, как встарь, золочёным замком сердце
заперто,
Пусть соловушка в роще осенней уронит ключи,
А зима подойдёт – упадёт в этом месте он замертво,
И сожмётся сердечко, как красный кусочек парчи.

Я посею цветы по высокому русскому снегу,
Чтоб играла метель в васильки, васильки, васильки,
Но ударил вернувшийся сокол под сердце с разбегу...
...Гусь летит в середине рыдающей русской строки.

* * *

Я вернулся домой через зарево лет –
Слишком долгим был путь к переправе,
И глядит на меня темноглазый портрет
В золотой потемневшей оправе.

Прямо в сердце портрета пробита доска,
Болт забит и закручена гайка,
А открутишь – так хлынет такая тоска,
Что заплачет над озером чайка.

Может, друг мой, вернувшийся раньше меня,
Не простил мне девичью измену,
Или враг мой, укравший на счастье коня,
Подгадал мне шальную замену.

На Ивана Купалу в дубраву пойду,
Соберу все волшебные краски,
На купальной росе все цветы разведу –
Другарю, врагарю, златовласке.

Архилин и плакун, одолень и разрыв,
Бузина, мандрагор и крушина –
Пусть они засияют, улучшив в разы
То, чем здесь любовалась кручина.

В день рожденья любви мне опять уходить
И коня уводить к переправе.
Друг, невеста и враг будут долго следить
Из портрета в весёлой оправе.

* * *

В альбом Нине Садур

Я с детства боялся сиреневых глаз,
А верил в слегка золотые.
Мне нравилось то, что они, как оргазм,
Всегда были чуточку злые.

Когда ты в упор из обоих зрачков
Смотрела своими очами,
Из самых больших человеческих слов
Два самых прекрасных – молчали.

И было взглянуться от счастья невмочь
В лица её лунного очерк,
В котором светилась пожарная ночь,
И школьных бровей беглый почерк.

И млеко по небу текло оболочь
Поэта в плеядах Стожаров –
Насквозь разнотравьем пропахшая ночь
С моею душой чуть дышала.

– Скажи мне, корова, ответь мне, Бодлер,
Что сбудется в жизни со мною:
Сиреневым цветом покроется ль сквер...
Иль жизнь – золотою золою?..

И тёплый под вечер задует «калмык»,
И лошадь с глазами иконы

Подводит к тебе древнерусский ямщик
С улыбкой китайской мадонны.

Вторую ко мне он ведёт под уздцы,
Качается лунное стремя.
И прошлое вновь потечёт, словно ци,
Опять – в настоящее время.

Мы встретимся снова и в снег упадём,
Целуясь на Красном проспекте,
Опять потеряемся, снова найдём,
Чтоб встретиться в плюсквамперфекте.

В него мы вернулись и снова стоим
И шепчем два слова простые...
Из глаз моих льётся сиреневый дым,
Текущий в её золотые.

снег снег снег снег снег снег снег снег снег

это кажется метель пурга
всё уляжется уйдёт в снега
мёрзлый тополь отойдёт ко сну
в бесконечную свою страну
ешь откусывай хрусти вино
пока вьюги на москве гостят
это мёртвые давным-давно
с неба девушки летят летят

* * *

*Евгению Лазарчуку
с вечной памятью о нашей юности*

Отчего в этом доме светло...
Это бревна прогрелись за лето,
Да ещё два окна под ветлой,
Как глаза, переполнены светом.

Отчего на душе так темно...
Это кони мои под ветлою
Ливнем шёлковых грив мне окно
Занавесили чёрной фатою.

По ночам меня душит ботва
За мои неуёмные речи
И цветы – полевая братва –
Заплетают мне руки и плечи.

И всю ночь полевая луна,
Протекая сквозь ситец оконный,
Своим красным вином допьяна
Напоит золотые иконы.

Или это бессонницы бред:
Это сам я качаюсь пред ними,
Это их исцеляющий свет
Сохраняет меня невредимым.

Отцвели кумачи на Руси,
Отошли комсомольские пасхи.

Светлый сонм деревенских святых
Пополняют слепцы и подпаски.

Не заглянет в окошко мой дед –
Он с 16 лет – враг народа.
И меня в этой комнате нет –
Я расстрелян среди огорода.

Пролетел через грудь мою шмель
Из ствола пионерского горна,
И московской любви карамель –
Поперёк деревенского горла.

...Хорошо, что успела луна
Нацедить свой напиток игривый.
Эту лунь выпивая до дна,
Расчесу своим шомполом гривы.

Этим соком я стёкла протру,
Осветлю потемневшие брёвна,
Чтобы в хлынувший свет поутру
Сердце билось и тонко, и кровно.

На душе и темно и светло:
То луна, то деревья, то кони,
То ветла обнимает окно:
Это было всё, Саша, съскони.

Только я все стихи променял
На слова совершенно простые,
И не вспомнит, наверно, меня
Золотая деревня Россия.

1978

* * *

По урезу воды,
Красным ветром печали гонимый,
Шёл с войны человек, капитан бронетанковых сил,
В деревенскую грудь был навывлет он пулей ранимый,
А вторую, без памяти, в горькую душу впустил.

По урезу воды
Лист подбитый, течением влекомый,
Всё ж прибился туда, где стояла родная ветла,
Но она, на себя принимая огонь незнакомый,
Не дождавшись его, уж сгорела дотла.

По урезу воды,
Хрупким ветром разлуки гонимый,
Шёл с войны человек, и была ему боль не остра.
Он вернулся домой, своей светлой любовью хранимый,
А навстречу ему на войну шла жена-медсестра.

Иван и Прасковья

Мама идёт с покоса,
Отец бредёт с войны –
Встретились у откоса,
Виновные без вины.

Она – сирота-сиротинка,
А он – подбитый влёт.
На небе цвела берлинка,
А на лугах – мёд.

Мама идёт из школы,
Отец вытирает коня.
Прямо за частоколом
В море течёт Иня.

Мама наденет платье,
Поедет узнать до конца
О том, как погибли братья
И где расстреляли отца.

Мама ведёт корову –
Снег по колена – в рай.
Я вспоминаю снова:
Это был месяц январь...

Отец, не сказав ни слова,
Ведёт коня за ней – в рай.
Я вспоминаю снова:
Это был месяц май...

13 января 1996

11 мая 2004

**«ПТИЦА
БОЖИЯ –
КОЛЯ
ШИПИЛОВ»**

«Птица Божия – Коля Шипилов»

...Сколько помню Николая, всегда у него на манер крыла жила за спиной шестиструнная гитара – верная спутница жизни и боевая серафим-подруга.

С того самого дня, когда вышли его первые рассказы (1983 г.), сразу же принёсшие ему широкую известность и премию «Литературной учёбы» как самому яркому дебютанту года, он многое успел сделать: и в литературе, и в любви, и в кино, и как автор замечательных песен, с которыми он, лёгкий на подъём, объездил почти всю страну. Но только нет в ней такого места, которое тянуло бы его назад с такой силой, как эта небогатая, суровая и нежная часть земли с запахом подвявшего сена, с тополёвыми улочками и палисадниками, где когда-то впервые шевельнулось его сердце от материнских песен и куда он теперь шаг за шагом возвращается, держа на плечах коромысло добра и зла и осторожно обходя полевые цветы...

*...О солнце гаснущее – мать,
присядь под образа
и пой. Я буду подпевать...
Пока твои глаза,
с моими цвета одного,
играют синевой –
не страшно в жизни ничего,
не жутко ничего...*

Колина мама, тетя Тася, пела даже по ночам, а жили они после приезда из Южно-Сахалинска большой вольнолюбивой семьёй в комнатухе в Карьере Мочище, на тихой черёмуховой улочке композитора Аренского, автора

опер, романсов, учебников по гармонии и анализу музыкальных произведений. Музыкальные произведения в Мочище в основном состояли из череды взрывов в разъятой оркестровой яме карьера, где добывали и дробили бытовой, бутовый камень для строительных нужд, а затем возили вагонетками на конной тяге. Лошадушки тут же и паслись недалеко, на лугах, и на отдыхе служили в бесплатной кавалерии у местных огольцов типа Шипилова. Вдоволь накатавшись и спешившись, они, с риском получить заряд соли в седалища, частенько тренировали бойцов ВОХРа, оберегавших аммоналовые склады с примыкавшими к ним Самыми Сладкими В Мире Зарослями Черёмухи.

Вот с этого-то Карьера и началась Колина карьера, самостоятельно, без помощи профессора Аренского, быстро освоившего гармонию, баян, семиструнку, кларнет, блиставшего в местной художественной самодеятельности и целыми связками поевавшего запойным чтением произведения из вагончика с книгами при карьерном заводе ЖБИ. К слову сказать, тектоническая основа Мочище, постоянно сотрясаемая и возбуждаемая взрывами, словно разбудила здесь какие-то неведомые, дремавшие творческие силы природы и породила массу необычайно талантливых людей, целый взрыв личностей: профессоров, музыкантов, предпринимателей, контрразведчиков, спортсменов, героев Союза и России – Колиных земляков и ровесников.

В 15 лет он уже на сцене театра музкомедии, и в недавно снятом телефильме Карелии Карамновой из серии «Территория души» о детстве и юности Николая Шипилова мы видим фотографию нашего юного гения, загримированного под негра в спектакле «Цветок Миссисипи».

Позднее, неистовый и ненасытный в работе, он снимется в нескольких серьёзных лентах, в том числе и в роли матроса Артёма во ВГИКовской раскадровке новосибирского оператора Анатолия Руднева знаменитого фильма «Мы из Кронштадта», по его прозе будут сниматься картины (последняя – «Ремэмбо хари» Марии Халиной, по рассказу «Золотая цепь»), звучать романсы (художественный фильм «Мужчины без женщин»), а потом придёт время, когда одна за другой будут выходить ленты о нашем талантливом земляке и сплошным неистовым потоком хлынут его песни, стихи, сценарии и книги. А первая публикация была в 1963 году, в газете «Молодость Сибири», где были такие слова: «Зарыл я в тени под сараем игрушечный свой пистолет...» Много-много лет спустя, уже после осады Белого дома и псовой травли критиков, из тех, кто считает, что маловато ещё паскудства в нашей литературе, он выдохнет:

*...Мой друг – походный пистолет.
Сестра – саперная лопатка...*

Но впереди ещё была живая и стремительная юность, с большими и прекрасными дружбами, когда никто не отказывал себе в удовольствии рекомендоваться грузчиками, дворниками, сторожами и стихов было не больше, чем любви, очень строгой, весёлой и взыскательной. Зато было много планов, проектов, идей, включая и самые несбыточные. Все отчаянно экспериментировали со словом, полагая, что Бог дал Слово бесплатно и можно делать с ним что угодно. Но только теперь стало очевидно, что у Бога все настоящие поэты на учёте, и, стало быть, нельзя писать хуже, чем ты можешь... и можешь ли... Эта

живая ячейка товарищества, этот молодой новосибирский литературный кооператив зарождался на любви и бедности, ибо того и другого в те времена было с избытком. Мы много писали, но никогда не говорили друг другу «я – поэт», поскольку сказать так было так же стыдно, как «я – красавец». Может, поэтому никто особенно и не стремился печататься, а совсем не потому, что «дышала ночь восторгом самиздата», и совсем не потому, что стихи не подходили по резьбе к журналам и издательствам...

Словом, к этому времени в лито Ильи Фонякова народ подобрался боевой, и нельзя было не утрашиться, когда в зал врвалась со своими свирепыми рассказами и продувными стихами про Гольфстрим отроковица Нина Садур в школьном ученическом фартуке, едва сдерживавшем напор её юных холмов и возвышенностей. Или когда суровый литовский староста и предводитель Валерий Малышев, благословлённый к тому времени самим Арсением Тарковским, собрав всю любчую братию, бесстрашно вёл нас после очередного заседания в «Эврику» или в ресторацию, не имея в кармане ни одного пенса, и, задавив, на манер Панурга, швейцара казуистикой, софизмами и членским билетом бригадмильца, протаскивал всю голытьбу к вожделенным столам, где сидели центровые друзья и знакомцы, снисходительно относившиеся к поэзии.

В один из таких вечеров в кафе «Отдых» официально короновали первого новосибирского Короля поэтов Женю Лазарчука, который, блистая прекрасными глазами, читал в пристальное лицо телекамеры свои августейшие стихи. Он был в нашей компании вроде любимого младшего брата, а старшим – надёжным, горячим и таинственным – был Николай. Довольно часто в нашу ар-

тель на звук шипиловской кифары залетали юные леди различных сортов, достоинств и добродетелей, которые, завидев голубые Колины глаза, мгновенно хорошели, обретали товарный вид и конкурентоспособность.

Впрочем, я должен признать, что это случилось почти ежедневно... Когда же эти валькирии возвращали нам останки измождённого друга, вся братия складывалась по кругу на витамины, чтобы вернуть к жизни покрывшего себя славой бойца кровавым вином «Солнцедар». Тут же на колени к нему присаживалась гитара и начинала выплакивать песню «Опять зелёный март», самосочинённую Жанной Зыряновой, чей «культ личности» в то время доходил до 70 % по отношению к «котировке» Б. Ахмадулиной.

Вообще, это было какое-то поколение гигантов, племя блестяще одарённых людей. Из этого фоняковского роддома, из этой зоны вышли и замечательный поэт Иван Овчинников – всеобщий уличный учитель и основоположник, и Евгений Лазарчук, пришедший из Барабинских степей со своими потрясающими, тяжёлыми, как мёд, стихами, и Володя Ярцев из алтайского Беловодья, где над деревней одновременно полыхают десять гроз, и Миша Степаненко – наш самый любимый монах и товарищ из ельцовского Гарлема, и порывистый Валерий Малышев, и председатель анапеста Анатолий Соколов, и Пётр Степанов, Жанна Зырянова, Александр Плитченко, Юлия Пивоварова... Отсюда же – один из ведущих русских прозаиков и поэтов Николай Александрович Шипилов, которого критики называли лучшим рассказчиком России.

Он стал первым лауреатом престижнейшей Шукшинской премии (1991 г.), литературной премии «Традиция»

(1995 г.), Государственной премии России в области литературы (1998 г.), призёром множества фестивалей и конкурсов авторской песни. Он – двукратный лауреат авторитетного всесоюзного конкурса «Песня года». Н. Шипилов награжден медалью «Защитнику Белого дома».

Его песни звучали в крупных концертных залах и библиотеках, в деревенских клубах и на подмостках тюремных «ДК», под буровыми вышками нефтяников и в зале ЦДЛ, в леспромхозах, на палубах наших военных кораблей в Баренцевом море и французских в Гавре.

Анатолий Иванович Долгих, заслуженный тренер Союза, бывший в составе нашей делегации в Англии в 1973 году, до сих пор всплескивает руками, вспоминая, с каким восторгом приняли в лондонском «Бутолз-клубе» одну из ранних шипиловских песен «Шикотан» в исполнении Владимира Землянова – одного из самых близких и сокровенных друзей Николая...

*...Рыба в море ходит, рыба в сети хочет,
А за ней идёт по пятам капитан,
Говорит: «Лови, держись!» –
А я ему: «Копейка жизнь!»
Ну давай взорвем Шикотан!..*

Тут англичане округлили глаза, и им долго пришлось объяснять, что Шипилов собирается взорвать Шикотан не в пику японским милитаристам, а оттого что уж больно там тяжёлая и маятная жизнь, хотя в переводе с языка айнов, живущих на острове, «шикотан» означает «лучшая земля».

Знакомый геофизик рассказывал, что чуть не упал с лошади, когда в одном небольшом городишке на краю

бразильской сельвы, куда он приехал по контракту, вдруг услышал Колину запись... Оказалось, что ей умягчала сердца семья эмигрантов из Владивостока, попавшая перед своим отъездом на концерт сеньора Шипилова.

*...Ты вернёшься? –
Я вернусь. Белым снегом обернусь...*

Ещё одного сеньора, по словам очевидцев, до сих пор можно видеть на одной из римских улочек близ церкви Сан-Карло алле Куатро Фонтане, не без успеха выдавливающего лиры у граждан «Римской Республики» под щемящие звуки шипиловской баллады «Я был скрипичным мастером» и знаменитого шлягера:

*...А это что за господин
С такими пышными усами?
А это я стою один
У гастронома «Под часами»...*

Лично я знаю одного чудака нашего, новосибирского разлива, который изготавливает маленькие бюстики Николая Александровича, полагая, что вот-вот они пойдут нарасхват и он сможет перейти на более монументальные формы, чтобы рассадить и расставить их в тех местах, где Шипилов жил, боролся и трудился. Безнадёжный романтик: ни одна страна в мире не потянет такой проект. В этом легко убедиться, заглянув в трудовую книжку г-на Шипилова. Гораздо реалистичнее переименовать какой-нибудь бульвар, улицу, консерваторию, главный вокзал, а то и весь город в Новошипиловск: и звучит свежо, и обойдётся дешевле, а обком партии, который титанически боролся с поэтом и писателем в годы застоя, отдать ему в

личное пользование в знак уважения к человеку, который более 30 лет прожил без жилья, паспорта и прописки:

*...В этом тихом коридоре
Я прилягу, где велят.
Это наша территория –
Моя и кобеля...*

Впрочем, ему виднее, где его «лучшая земля»: на Шикотане, в Новосибирске, Мочище или Москве.

Москва, по словам Коли, всегда манила, как сказочный город, – начиная с букваря, со Спасской башни, с курантов, – как праздник души, как город русского сердца. Но ехать в Москву – ехать на войну. И мотивы тут могут быть разные. Анатолий Владимирович Маковский высказал предположение, что Николай поехал как мститель за вечно прекрасную полуголодную провинцию – раз. Чтобы раз и навсегда разобраться с поговоркой «в Москву за песнями» – два. В добровольную ссылку – три. (Тут ссылка на ссылку оправдана тем, что сам Маковский, послав любимый город Н. на 21 букву алфавита, рванулся в места Косты Хетагурова и три года прожил кавказским пленником в любви и в изучении своей большой ассимилированной души.) Повторяю, мотивы тут могут быть разные: кто-то пилит за славой, но это – иллюзия, славы народной давно уже нет, её заменила электронная. Ехать за деньгами, за золотом – тоже абсурд, ибо богатство так же утомительно, как и бедность. Одни желают реализовать свой губернский талант, для других это ещё и соблазн и искушение. Но и это, собственно, не страшно, так как именно в искушениях становится понятно, кто золото, кто серебро, кто железо, а кто – сено и солома. Золото и серебро в огне становятся

чище, с железа спадает ржавчина, олово плавится, а сено и дрова бесследно исчезают.

*...Я всё искал то дерево,
Тот лак, то полотно,
Чтобы играло стерео,
Что Богом мне дано.
А ночью во всклокоченных,
Прожжённых кабаках
Я пел усталым кочетом
Со скрипкою в руках...*

Однажды в радиобеседе с писателем и редактором журнала «Сибирская горница» Михаилом Щукиным Николай сказал, что у него до сих пор стоит перед глазами яростная лавина людей, прорывавшихся к Белому дому – словно толпа эмигрантов, стосковавшихся по своей родине, которая вся сосредоточилась в малом клочке земли возле БД, и они прорывались к этой несдавшейся родине и готовы были умереть за неё, а многие и в самом деле заплатили за этот порыв, за этот глоток свободы жизнью. «И в этом – огромная разница между этой и той “войной”», когда мы поодиночке завоевывали, штурмовали Москву, кто со скрипкой, кто с мольбертом, а кто, как и я, – с гитарой да рассказами. Мы были тоже “эмигрантами”, внутренними, но – и это очень важно! – без обиды на Родину. ...И второе, что стоит перед глазами, – лица людей: безмерно усталые, но просветлённые. Они для меня сейчас – как одно лицо, состоящее из сотен и сотен: вот баянист с фронтовой “Катюшей”, с “Золотой Москвой”, девчата забинтованные, казаки, священники раненые, ребята молодые, ещё безусые, добровольцы из разных городов...»

*...Защитили не «бугров», а российский отчий кров,
За распятую Россию проливали свою кровь,
Мы с Петровым, да Поповым, да с парнишкой
чернобровым
После гари приднестровой здесь глотали
дым костров.*

*В перекрестье рам вижу Божий храм,
Слышу тарарам колоколов...
Может, видит Бог, не обидит Бог,
Выведет орлов из-под стволов.*

Этот шипиловский «Реквием», в котором Петров, Попов и мальчишка чернобровый с голыми руками идут на «свинцовый интерес», словно переключается с другой знаменитой песней Николая – «Пехотой»:

*...А на пулеметы неохота им была,
Но всё равно лавиной ярость львиная пошла,
Вот она лавиною невинная пошла
И во чистом поле подчистую полегла...*

У него вообще много светлых образов: и в стихах, и в романах, и в романсах, и в песнях. Они как бы передают эстафету друг другу, объединяются на благое, создавая огромную вольнолюбивую зону, знаменитую шипиловскую «Территорию»: «Это наша территория, а далее – врага...» Может, поэтому он и был у Белого дома. Как гражданин, как художник, как мужчина. Это – поступок. Красоту надо не только беречь, но и защищать. Вообще же, красота – это Отечество: с людьми, с лесом, с полем, с Богом. И какое это счастье – жить именно здесь, на этой милой земле, а не на Бродвее или в Ганновере, и если сердце упадёт в печаль, мы на этой материнской земле всегда найдём

место, чтобы постоять в зарослях черёмухи, чувствуя, как ветер гонит тёплые пьянящие волны воздуха, от которого всё существо готово плакать и смеяться.

У нас бездна талантов, море одарённых людей, и нигде в мире нет такой густоты, такой пронзительности и глубины виденья, таких сердечных образов, как, например, в творчестве Николая Шипилова.

И вообще в России всё самое лучшее: ситец, танки, шоколад, озёра, песни. И конечно, женщины. Достаточно спросить об этом у Шипилова.

*...Долгой, ненастной, бездомной зимой
Женщина – равной ей нету –
Молвила тихая: «Ангел ты мой,
Ангел мой, жжитый со свету...»
Был ли я птицей? Не знает никто;
Волком, собакой ли драной?
Только купил дорожное пальто,
Чтобы встречаться с Татьяной...*

Вот я и говорю, что мы часто забываем о нашем родном, отечественном, и только русские стихи и песни да сибирские шали и валенки в открытую осмелились бороться со всемирным валом импорта. Просто удивительно, что какие-нибудь эфиопы, монгольцы, филиппинцы и персы еще не завалили нашу страну пимами...

А если говорить о песне, то она всегда спасала русского человека, согревала, выручала, давала надежду. «Русский человек плакать не любит, – говаривал Николай Некрасов, – а больше поёт».

Тысячи людей любят незабываемый, с шершавинкой и грустинкой, шипиловский голос. Столешница его сто-

ла в «Литературной учёбе», где он заведовал отделом поэзии, прогигалась от ежедневного потока писем, многим и многим талантам он путеводительствовал по жизни, ввёл в художественную среду. Чего стоит один Михаил Евдокимов, которого Шипилов, вооружённый двумя дорожными курицами и верой в могучий талант земляка, привёз в столицу!

Человека нельзя сделать более свободным, чем он есть внутри. Это этногенез: берёза всегда будет берёзой, и если даже её спишь, то на пне вырастут берёзовые веточки, а не жёлуди. Это вообще великий русский тупик: как можно что-то любить и при этом быть свободным? Потому что наше национальное искусство – чувственное, искреннее, с преобладанием эмоции над интеллектом, очень эмоциональное. Возьмите любую вещь Николая – у него строка, при всей древнерусской экономичности стиля, иногда даже переизбыточна, с перехлёстом, изукрашена изумительной вышивкой, но одновременно строга и обладает глубочайшим чувством соразмерности. Колины вещи можно резать на куски, дробить на фрагменты, и всё равно каждый из них остаётся живым, осмысленным, вполне законченным. Это как хорошая пуховая шаль, которую можно пропустить через девичье кольцо и она снова расправится во всей своей красоте.

С отъездом Николая в Москву казалось, что мы сбились с русского шага, пошли вразнобой, словно с его отбытием нарушилась та стрелка кристаллизации, которая гармонизирует все многофигурные дружеские и творческие отношения. Он всегда умел дружить и всегда был верен тем, с кем побратался по дороге жизни. Помогает печататься, пишет рецензии, отзывы, пристраивает ру-

кописи, сам, как правило, неизменно оставаясь в тени. И очень тоскует по родным местам.

Он много работает, много пишет, но сам особенно не распространяется на эту тему, в отличие от «классиков», любящих рубрику «Над чем вы сейчас работаете?», а на проверку оказывается, что плодов не более, чем груш на осине. Со временем в Николае, на мой взгляд, совершилось некое незримое, грозное и необходимое движение от превышающих наши силы житейских и телесных подвигов к усердию в христугодных и писательских трудах, и он неумолимо начал восходить к предназначенному совершенству. Это я как-то особенно ясно понял, когда в юности с изумлением увидел, как земной и грешный Шипилов первым из нас пришёл к церковному крыльцу. И только потом, с годами, я осознал, что для него это так же естественно, как дышать, как петь свои песни, в которых есть и чудо красоты, и лад, и глубокий смысл. Николай всегда умел находить для своих стихов и песен слова, которые любят друг друга. Они адресованы всем: и тем, кто выпал из своего достоинства и поверил, что счастье уже упразднено, и тем, кто поднимает сейчас с колен нашу Родину, восстанавливает российский государственный дом. Эти щемящие сердце размеры, эта нежная пряжа стихов, сотканная из русского снега и света, эти одинокие состояния и шорохи жизни, эти летучие образы и думы, эти глубокие праведные мысли, это возвышенное отношение к Родине есть суть шипиловского песенного чуда. Николай Александрович Шипилов – безмерно одарённый человек. Человек особого, русского строя души, особой теплой русской гениальности, истоки которой лежат в той суровой нежности, которую несмотря ни на что сохрани-

ла наша провинция, наша малая родина, наша серебряная глубинка. Может, поэтому его синие глаза всякий раз увлажняются, когда он вырывается из заколдованного Московского царства в родной город, где его ждут и любят, где замечательный кинорежиссёр Мария Халина сняла его в двух фильмах: «Парни из нашего города» и «Фортуна-фортуната», отблагодарив таким образом Николая за ту лавину песен, которые он написал в юности для фильмов и передач Новосибирской телестудии (их больше сотни!). Колины песни и книги, Колины фильмы и записи ищут Друга и Спутника, ищут для себя Родной Дом, а не жилплощадь. Поэтесса Валентина Невинная в одном из своих стихотворений написала о нём: «Птица Божия – Коля Шипилов». Но еще раньше он ответил в песне:

*...Кто меня породил?
Я считаю, что ветер
Самых дальних краёв,
Самой милой земли...*

У Коли счастливая родовая аббревиатура: Николай Александрович Шипилов. НАШ. Его творчество, его песни – «НЗ» России.

Возможно, моё мнение не много стоит, но оно не продаётся. Это – наша территория!

* * *

От автора:

Фрагмент из очерка, написанного осенью 2001 года для альманаха «Гитара по кругу». Тогда гитара сыграла песню «Никого не пощадила эта осень...», но круг не зам-

кнулся. Все, кто любит родное слово, любит Россию — знают, кого мы потеряли горькой осенью 2006 года:

*...Осень – мой приют. Родина прощальная.
Осень мне сестра, жена. Осень — верный друг.
Осенью уйду я в дорогу дальнюю
Льдинкою хрустальною по ветру...*

Пряжа жизни Николая Александровича Шипилова пресеклась 7 сентября 2006 года в середине России, по дороге в Белую Русь, где любимая жена Татьяна и дети молятся за светлую душу отца в возведённом им храме Святителя Николая Чудотворца, а дорога, пройдя через всю его *территорию*, вернулась к родному дому, в Новосибирск, и влилась в улицу, которой земляки дали имя: улица Николая Шипилова, где продолжается жизнь, одушевлённая его прозой, его светлыми песнями и стихами.

*...А если про любовь —
Нет родины милей.
А если про неё —
Взмахни душа крылами.
В простор пустых полей
Пролей густой елей
Прекраснейших небес,
Яснеющих над нами.
Всему придёт пора:
И завтра, и вчера.
Придёт предел страстям —
Нет ей одной замены:
Там за рекой — река,
А за горой — гора,
И сизый прах костра,
И эта кровь из вены.*

**«ОТЧЕГО
В ЭТОМ
ДОМЕ
СВЕТЛО...»**

Пригородный вальс

...Здесь осталась большая поляна –
Не вернулась в рыдающий лес.
Химзавод прикупил фортепьяно...
Танцплощадка, качели, навес...

Здесь «москвичка» танцует с фуфайкой,
А жакетка ударилась в грусть –
Сердце бьётся под красною майкой:
Ну и пусть... ну и пусть... ну и пусть...

А подружка, к болоньевой куртке
Прижимаясь своим свитерком,
На высокого смотрит, в тужурке,
Что когда-то был с нею знаком.

Он проносится с кралей в косынке,
Запрещённое тело руля,
И плывёт над землёй, как с пластинки,
Драгоценное имя ея.

Если б знал гитарист и ударник,
Как не хочется больше ей жить! –
Ведь её кавалер и напарник
Продолжает подружку кружить.

И она, на манер парижанки
Со слезами смахнув фон де тен,

Попадает в объятия кожанки –
Прямо в лапы родных госсистем.

Ну а та, без особой причины
Принимая портвейна стакан,
Говорит всем, что лучший мужчина –
С золотыми зубами цыган.

Кое-как отлепились от стенок
И пошли танцевать падеграс
Шаровары, шальные шатенки...
Клэш + джемпер = вальс.

Да ещё «шестиклинка» в веснушках
Закружила кудрявый «вельвет» –
На щеках её пудра и мушка
Отвергают понятие «нет».

Дышит кофточка «Красной Москвою»,
И томлением грудь налита:
Ведь примаран помадой губною
Воротник на сорочке мента.

И в матроске, и в блузке, и в юбке,
Излучающих сладостный стон,
Заводские родные голубки
Погружаются в танец бостон.

Ах, как хочет ворюга в законе
Пригласить после танцев в кино, –
Но готовы к труду, к обороне
Крест нательный и знак ГТО.

А бухгалтер поправит бюстгальтер,
А лифтёрша придержит свой лиф,
Если здешний родной «гастарбайтер»
Прикоснётся, глазыщи залив.

Здесь проходят по лезвию бритвы
Парни – те, кто ещё не служил.
И жужжат заельцовские битлы,
И свистят с плексигласом ножи.

Здесь сидят на скамейках старухи –
Наша гордость, и совесть, и честь.
И проносятся внучки и внуки –
Наша новая русская жесь.

И закружит на долгие годы
Память Первой Сибирской Любви,
И прольёт на них сладкие воды
Ветер родины с милой Оби.

Я спускаюся к ним на площадку,
Я со всеми кружусь наугад,
Я шепчу им: всё будет в порядке,
Пока я здесь – слепой музыкант.

Конь

Евгению Мельникову

Всхрапывая, качая головой,
Словно молясь за меня,
Конь мой – полей герой –
Косится из-под ремня.

Нет ему воли здесь
На золотых хлебах,
Хочет ногами съесть
Русской версты размах.

Нет, погоди, гневой –
Нынче была мне весть:
Чтобы святой водой
Слёзы мои развесть.

Аще любовь игде,
Та, что пленил в саду?
Может, она приде
В ласковую узду...

Дерево русской души
Снова светлеет в ночь,
Вспыхнет и, как Шукшин,
Дале поиде прочь.

Свет мой – гнедой в саду,
Слушай меня, внемли:
К счастью, а не к стыду,
Друзи, аз есть на земли.

Жено, в какой степи
Волос вплетён в ковыль?
Шпоры, гнедой, терпи,
Видишь, цветы в крови.

Нет её, снова нет.
Вышит цветами след.
Горькой полыни бред
Вставлен в степной багет.

* * *

Положу свои слова на сохранение
И назначу им задумчивости срок –
Одноразовый укус стихотворения
Заставляет биться бешено висок.

Степь воспитывает чувство сострадания:
Ее абрис, окоём и горизонт
Погружают древнерусское сознание
В мирозданье, заключённое в озон.

Положу свои слова на сохранение
И назначу исправительный им срок –
Одноразовый укус стихотворения
Заставляет сердце делать марш-бросок.

Думал: встречу я в степи полукультурку,
Для нее готов пожертвовать ребром,
Чтобы вечером, насвистывая «мурку»,
Рисовать ее окурками в альбом.

Тут окурки надо б вычеркнуть, да жалко,
Надо ж как-нибудь показывать и жизнь:
Догорает подождённая пожарка –
Видно, краски перепутал пейзажист.

Я же с детства жил в степи уединённо:
Степь «Аксаков», степь «Тургенев», степь «Куприн» –
Степь сама жила во мне непринуждённо.
Я один в степи. Я пью аквамарин.

И вращаясь под старым небосводом,
Коршун кружит все быстрее и быстрее –
Как игла над древнерусским патефоном
С позабытою мелодией степей.

Положу свои стихи на сохранение
И отмерю им струящийся песок –
Одноразовый укус стихотворения
Заставляет память плакать между строк.

Степь давно умыта дивными духами.
Я купаюсь, погружаясь в окоём, –
Полотенце мое вышито стихами,
А рубашка моя вышита огнём.

9 Мая

- Иван, ты где?
- Да я на автобазе. Гоню «ЗИСа».
- Ты что, с ума сошёл?
- Зачем он мне...
- Ты кто?
- Я Стенька Разин.
- Пошёл-ка ты...
- Ну, я пошёл...
- Ты Рус Иван?
- Так точно: волос рус.
- Ты Трус Иван.
- Оставил Белорусь!
- А помнишь, Зигфрид:
Гитлер... Гот мит унс?
- Ступай до хаты, на свою «святую» Прусь,
- Но помни: Сталин, Политрук и Иисус!
- Степан! Таковую мать! А где снаряды?
- Точу второй. Ещё не доточил.
- Мне надо 100. Для танковой засады.
- Товарищ Сталин лично поручил.
- Сестра, сюда!
- Ну что опять случилось?
- Иван... Степан... Им снится про войну.
- Да я сама ещё не долечилась.
- Уколов нет. Я грудью к ним прильну.
- Иван, Степан, Сестра – вы где?
- Мы в Померани.
- Нам хорошо. На лицах серебрян.
- Но был приказ: чтоб вы не помирили.
- А ну-ка, встать! Идите на Берлин!

Журавли...

На прощание выпью сто граммов
И пойду по деревне брести,
Чтобы каждая встречная рама
Отпустила меня, покрестив.

До свиданья, родные избушки,
До свиданья, родительский дом,
Александра Сергеевича Пушкина
В голове отпечатанный том.

Я открою консервную банку
На траве, за последней избой.
Вся деревня меня спозаранку
Провожать соберётся гурьбой.

Мама с тяпкой придёт с огорода,
Мы простимся у всех на виду.
Знает только родная природа,
Что я больше сюда не приду.

И отец с золотой литовкой,
Победив луговую траву,
Вытрет ветошью, словно винтовку,
И невольно вздохнет про войну.

.....

Лишь когда изношу я шинель
И утрачу души постоянство,
Как транзитный ночной журавель
Над деревней нарушу пространство.

И ударюсь тогда о крыльцо
Позолоченной солнцем избушки,
Я, как в детстве, подставлю лицо,
Чтобы птицы клевали веснушки.

Из колодца взглянули глаза:
Всё такая ж вода молодая,
Как в окладе, хранит образа,
Когда пьём их, свои отдавая.

Вот и мой. Он остался в тот день,
Когда я уходил из деревни –
Словно облака быстрая тень
Зацепилась за ветку сирени.

Отцеплю от ведёрка вьюнок,
Что обвил наш журавль из сада,
И достану с водой из-под ног
Два последних родительских взгляда.

Красавица

Слава Богу: метёт и метёт.
Зги не видно. А ехать – не близко.
Парус ветра рванулся вперёд,
Разгоняясь до самого Бийска.

О, тут чудится русский дорожный сюжет:
Бесы, волки, любовь и погоня –
Снег белей, чем крахмальный дворянский манжет...
И в степи заплутавшие кони...

И конечно, герой – молодой офицер,
Тёмной ночью укравший невесту, –
Интересно, останется юноша цел
Иль погибнет с красавицей-крести?..

Кто-то гонится следом: ревнивый отец,
Гимназист или дохтур уездный...
И пускай их преследуют страстный купец
И кузнец – молодой и мятежный.

Стоп... А кони? А кони, вестимо, собьются с пути –
Волчья стая сжимается веером.
Всё: сомкнулась – теперь никому не уйти,
И девичья перчатка, как в книжках, – утеряна...

Дальше что? Дальше – выстрел: и падает в снег эполет...
Кто стрелял?.. Непонятно... Наверное,
Из кибитки проезжей шарахнул корнет –
У корнетов привычка прескверная...

Хорошо б в это время и встречный ямщик
Опоясал кнутом молодого купца –
Это б было, друзья, средь снегов – просто шик,
А потом бы взбодрил в три удара корнета, отца, кузнеца.

И пошла кутерьма: даже волчий жоак
Получил два заряда в смотрелки.
Только ветер свистел в ямщиковых вожжах,
Когда он уходил в перестрелке...

Ну а что же она? – Ни мертва, ни жива:
Женихи, кавалеры – в сугробе...
И плывёт средь пурги в дальний путь кошева,
И ямщик наклонился к зазнобе...

Слава Богу: метёт и метёт...
Зги не видно, а ехать – не близко.
Парус ветра рванулся вперёд
И смеялся до самого Бийска...

Ржанка

Кромкой поля аржаного я бреду – такая доля:
Позади меня – неволя. Пыль клубится впереди.
Кто-то едет мне навстречу, чтобы взять меня за плечи,
Чтобы сердце вырвать из доверчивой груди.

Неужели-неужели мои лошади посмели
Заманить меня в дорожную петлю,
Чтоб вести меня по кругу – но с какого перепугу? –
Эх, услуга за услугу: я петлю ржаную тоже им сплету!

Да тут и счастье улыбнулось: рожь вокруг меня сомкнулась,
Заплела дорогу разноцветным дерзким этим ко́ням.
Вот во ржи они заржали – раньше мне принадлежали, –
Я кормила и поила их с серебряных ладоней.

...Но, когда он появился и к ладоням наклонился,
Щекоча их золотистыми усами,
Вы в его впряглися сани без кнута и плети – сами,
Заметая среди лета снег холёными хвостами.

Вороной, гнедой и карий, – вы меня украли – кралю,
А ведь я вас уважала-ублажала.
А когда ваш покровитель заключил меня в обитель,
Я сплела из кос веревку и – сбежала.

В платье голом возвращалась, но луна явила жалость:
Пригасила свет небесным тихим облаком.

И пока играли в прятки, я про грех ночной наш сладкий
Вспоминала и смирялась с новым сердца обликом.

Ну а вам, мои родные, мои кони золотые,
Заплету я в кудри рожь цветущую, несжатую.
А теперь – спешите в церковь, чтоб душа осталась целой,
Я ребёнка покрещу и спеленаю материнской лимика́тою.

И за ваши прегрешенья принимаю я решенье:
За обман биологически невинной девы красной-инфракрасной –
В знак сердечного отмщенья в тайный срок плодоношенья
Назначаю вам прощенье своей волей самовластной!

Вот бредёт ваш повелитель-покровитель-похититель –
Он попал в петлю двойную: во степную лимикату,
Сердце взял моё в утрату, и за это пусть в расплату
Сам в петле ржаной плутает до умату!

Кони пили. Было жарко. Мне коней было не жалко.
Сын кормил, давал с серебряных ладоней цветень ржи,
А они косились жадно на дорогу, там, где ржанка
Иль душа моя отдельная на воздухе дрожит.

...Кромкой поля аржаного еду я – такая доля:
Позади любовь и воля. Пыль клубится впереди.
Кто-то мне спешит навстречу, чтоб обнять меня за плечи,
Чтоб отдать моё мне сердце из своей смеющейся груди.

«Барнаул»

Шукшин, Высоцкий, Заволокин шли по дороге в Петербург.
Навстречу – Бунин, Блок, Есенин сходить решили в Барнаул.
И вот – сошлись на поляне. Есенин вытащил стакан:
– Ну что, – сказал он, – россияне: за тех, кто честно отпахал!
Шукшин сказал мне: на Алтае есть славный город Барнаул,
Поклялся мне на стеклотаре, и верю я – не обманул.
Пойдёмте, братья, в ширь Сибири, напьёмся ветра допьяна,
Пусть знают все в подлунном мире: там в чашах плавает луна...

...Едва подняли чаши с пуншем – идут Твардовский, Тютчев,
Пушкин.
Едва открыли банки с пивом – Вампилов, Лермонтов, Шипилов.
Едва открыли путь к вину, чтоб пить за милую страну –
Жуковский, Гоголь и Державин подходят выпить за державу!
А с ними Фет и Лев Толстой – его стакан уже пустой.
За русский гений пил Тургенев и за кириллицу – Кирилин.
– Какое счастье: мы – славяне! – исторгнул Игорь Северянин.
– Давайте выпьем за Победу! – воскликнул с ходу Грибоедов,
А Тютчев, склонный к афоризму, добавил гордо: – За Отчизну!
– Ура!!! – воскликнул Маяковский. – И за солдат! – твердил
Твардовский.
– И за Москву! И за народ! – вскричал Аксаков-патриот.
– Пока свободою горим!.. Уж мы пойдем ломить стеною!..
– За Родину! И за Сибирь!.. А он вчера не вернулся из боя..
– Мы – Русские! – Какой восторг! – слова Суворова исторг
Иван Овчинников, чей полк фольклорный знает в Слове толк.

- Я помню всех за далью даль, – перекрестился грустно Даль.
- Калина красная... – вздохнул Шукшин, а с ним и Пушкин,
и Шеншин...

...На небе высветились Знаки, вошла Алтайская луна.
Все полегли на бивуаке и пили воздух допьяна.
Поэты спали... Что им снилось? Во сне за Родину молились...
Они давно в неё влюбились, они за гордость её бились...
...Уж с ними месяц прикорнул. Есенин встал на караул,
И на груди его светилась медаль за город Барнаул.

* * *

Книга выйдет при полном молчании,
И не скажет никто: Александр,
Ну, зачем ты заставил ночами
Приходить в твой заброшенный Сад.
Ну, зачем ты, страдая и мучась,
Раздавал нам огни деревень,
Коль предчувствовал горькую участь
Быть забытым уже через день.
Ветер вырвет из книги страницы,
И слова, что так мучили рот,
Возвратит русский мальчик в Провинцию
Через век или, может быть, год...

* * *

Тане Макаровой

В день рожденья Пушкина, на Речном вокзале,
Я глазами встретился с гордыми глазами.
Я с глазами встретился, они мне приказали:
А ну, беги быстрее ко мне, а то зальюсь слезами!

Я купил у бабушки кукушкины слёзки,
Я купил у дедушки значок КПСС,
С бабушкой и дедушкой мы оказались тёзки,
И один на четверых Георгиевский крест.

Обвенчали они нас, словно были дети мы,
В этот наш прощальный час стали нам свидетели.

А мы тоже их свели: она, как Анна Снегина,
Стала верною женой дедушки Онегина.

Что мне делать? Как ей быть? Как нам злоупотребить
Этим достоянием – нашим расставанием...

Слёзы плакали из глаз, бежали спорадически.
Мы обнялись: она и аз – светло, как в День родительский.

Я метался, я стонал, плацкарт губами склеивал,
Снова рвал и покупал билет – листок у дерева.

Но тут взглянули на меня 2 слезы кукушкины:
Её звали как меня, а меня – как Пушкина.

Однажды поздней осенью

С тяжёлой душой я лежал на снегу,
Зато задержал молодую пургу:
Снег тает под сердцем и в речку течёт –
Там лодку вода из-под сердца – влечёт.

С тяжёлой душой я лежал на лугу –
Там женщина стонет в соседнем стогу,
И слёзы, смешавшись с водой дождевой,
Текут вместе с лодкой и быстрой рекой.

С тяжёлой душой на крутом берегу
Лежу я и лодку её стерегу –
Там женщина в ней исступленно гребёт –
За лодкой вода превращается в лёд.

И с берега того, что напротив меня,
Мужчина бросается, как в полымя,
Мы оба плывём к ней, ревнуя, вдвоём,
Друг друга в друг друге себя узнаём.

А женщины – те, что живут вдоль реки,
Кричат ей: отдай! нам нужны мужики!
Она же – молчит, и дивится народ:
С глазами закрытыми в лодке гребёт.

Мы вместе подплыли...но в этот же миг
Раздался с откоса пронзительный крик,
Покрылися белой мглой берега –
То мчалась неистово к лодке пурга.

Исчезли они вместе с лодкой в снегу.
С веселой душой я лежу на лугу.
На память скосил я литовкой пургу,
И кто-то смеётся в соседнем стогу...

* * *

Михаилу Шукину

Жить было больно, но надо.
После кровавой войны
Слёзы, Любовь и Отрада
Хлынули в Сердце страны.

Верю, Россия устроится,
Верю, что всё впереди!
Пасха, Победа и Троица –
Три наших светлых любви.

* * *

Я вспомнил себя и заплакал —
Как мальчиком русским я был,
Как с чёрной кудрявой собакой
Зелёную землю любил.

Мы жили в Советском Союзе,
Наш дом был у самой реки,
Ещё не развязан был узел
Моей и отцовской руки.

Была мне и радость, и вага,
Но что-то случилось в груди,
И хлынула первая влага
Про то, что вся жизнь позади...

— Вставай, — мне шептала собака, —
Уж поздно. Пора на покос. —
Меня обнимала рубаша,
Служившая мне на износ.

Цветы с голубыми глазами
Смотрели мне прямо в лицо —
Мы сразу их с мамой узнали,
Попав в голубое кольцо.

По мокрой росистой дорожке
Мы с мамой шли босиком.

Два низких заросших окошка —
Заброшенный мельничный дом.

В том доме жила одиноко
Колхозная лошадь Звезда,
И часто смотрели из окон
Слепые от жизни глаза.

Из рук моих клевер и донник,
Сомлевший в кошёлке, брала,
И вновь её мельничный домик
Из детства в туман уплывал.

И мама опять улыбалась:
Для Звездочки шторки бы сшить...
И эта житейская малость
Запала на всю мою жизнь.

На этом позвольте закончить:
Мне слёзы мешают писать,
Поскольку те горькие очи
Я так и не смог прочитать...

* * *

Молитесь Господу за Родину –
Она пресветлая нам Мать!
Спешите ей молитв мелодии
От Божьей Матери имать.

Молитесь в церкви и по рации –
Дар русской речи обрета,
В родном краю, и в эмиграции,
И на пределе бытия.

Храните речь великосветскую
И говор русских деревень,
Старославянскую, советскую –
Как сборник самых светлых дней.

Так птичьи крики на гайтане
Пред грустью долгого пути
Проистекают из гортани
И просят: Родина, прости.

Кто небрежит своею жизнью,
Чтоб только Родину сберечь, –
Тот будет сохранён Отчизною
И заключён в родную речь.

Об авторе:

Денисенко Александр Иванович родился в 1947 г. в селе Мотково Мошковского района Новосибирской области. Учился в Новосибирском педагогическом институте. Работал телеоператором, журналистом в новосибирских газетах, редактором в издательствах «Детская литература», «Мангазея». Публиковался в журналах «Сибирские огни», «Новосибирск», «Сибирская горница», «Огни Кузбасса», «Волга», «Литературная учеба», «Знамя», «Новая Россия. Воскресенье», «Русский дом», в коллективных сборниках, в том числе в «Гнезде поэтов», изданиях группы «ЛЕС» и Гум. фонда.

Автор поэтических книг «Аминь» (1990); «Пепел» (2000), «Провинция» (2019).

Стихи А. Денисенко вошли в антологию «Итоги века», М., 1997; хрестоматию «Русская поэзия XX века», М., 1999; «Антологию Русской поэзии XX века», 2001; двухтомник «Русские стихи 1950–2000 гг.», М., 2010; антологию сибирской поэзии «Слово о Матери», Тобольск, 2011; сборник «Земляки» (серия «ЖЗЛ Сибири», 2016 г.); альманах сибирской актуальной поэзии «Между», Новосибирск, iZZdat, 2017; литературно-художественный альманах современной поэзии и прозы «Белые журавли России» (Парад литератур), М., 2018; поэтический альманах-навигатор Союза российских писателей «Паровозъ», М., 2018 и др.

Победитель Всесоюзного поэтического «Конкурса одного стихотворения», 1991.

Лауреат премии «Литературной учёбы» за 1991 г.

Лауреат конкурса интернет-журнала «Русский переплёт», 1995.

Лауреат премии журнала «Горница» за 1995 г. и журнала «Сибирская горница» за 2001 г.

Победитель творческого конкурса «Лица сибирской столицы», 2004.

В 2017 году А. И. Денисенко награждён медалью «Василий Шукшин».

Член Союза писателей России. Живёт и любит в Новосибирске.

Содержание

<i>Как добрая весть. Михаил Шукин</i>	5
<i>«Чтоб светилось её жертвенное лезвие...». Михаил Косарев</i>	7
Где она, наша станция?	12
«Красный, как май, жеребец...»	14
«Грусть невестина. Идёт тёплый свет...»	15
О вы, кто может	16
«Чёрный снег замаячит на взгорье...»	18
«Я забыл, что со мною случилось...»	19
Песенка о подсознании	20
Пепел	21
«У меня ничего не готово...»	25
«Люби тот мир, в котором ты живёшь...»	26
«Наша юность зацвела в Новосибирске...»	27
Обские волны	28
«Вот уж скоро Покров, Николай...»	29
«Любимый город пьян и сыт, и пьян...»	30
«На улице мне встретила @...»	30
Гул истории	31
«Вот приехала к нам автолавка...»	33
«К ночи верхом...»	34
«Медлительно плывут казанки...»	35
«Небо над улицей Гоголя милое тёмное»	35
«Начал синеть овёс...»	36
«Чей чей чей это конь это конь этот конь...»	37
«Посадили меня на цепь...»	39
«Эти брови платком не сотрёшь...»	41
Святое сердце	42
«Юных надежд моих конь»	44
«За деревней, в цветах, лебеде и крапиве...»	51
«Душа ли лепится к зиме...»	52
«Кто сеет смуту и печаль...»	53
«Ну, падай, снег...»	54
Встаём!	54
Трое	55
Автобиография	55
«Как напал на наш город весёлый отряд...»	56
«Достаточно достать рукою...»	57
«Нет-нет да приснится...»	58
«Вбили гвозди мне в ноги, велели идти...»	59
«Как-то шел я на станцию...»	60

«Тихо. Всё тихо. Рассвет не идёт...»	61
«Я влюбился в яблоню весной...»	61
«в будний день с портретом боженки...»	62
«Ну, что ты, товарищ, ну спи на плече...»	63
«Он вернулся с войны...»	63
Крест «Дотемна на затоне горела вода...»	64
На ясный огонь	65
Первый снег	65
«Месяца мая над и над...»	66
«Пал огонь. Зажёг солому. Тихо вспыхнуло село...»	67
Дед Валера	68
Голодные звёзды	69
Обгоня дорогу домой	70
«Гром давно уже гремит...»	71
«Между двух январей – грусть утраченных дней...»	72
«Лишь обернусь – и в горле ком...»	72
«Ещё не померкли цветы луговые...»	73
«Кони в воде по колена, черти, шагают по грудь...»	74
Млекопитательница	76
«Как заплачу я в синие ленты...»	88
«Месяц тихое пламя зажёт...»	89
«Белым-бело сегодня в НСО...»	90
«О чём ты плачешь, русская душа...»	91
Помнишь?	92
Цветы запоздалые	93
бессонница	94
«Саня пил вино зелёное...»	95
«Гроза миновала. Мы ехали шагом...»	96
«Наука и жизнь»	98
«Дама. Дамка. Сумка. Самка...»	98
«Господи – люблю тебя...»	99
Бирюза	99
«Этот справочник дорожного безумца...»	100
«Как же так с неба падала вода...»	101
«Хорошее слово “струбцина” ...»	101
Воспоминание	102
Учебное стихотворение	103
Пристально	105
Легкий бег	106
«М»	107
Лукреция	108
«Форточка дышит, и печка гудит...»	110
Песня для кинофильма	111
Отчаянье	112

«Листья красные жгут мои руки...»	113
птицы	113
«Как много капувших с вопросом на лице...»	114
Товарняк	115
«Вот и снова сентябрь...»	124
Ночная тетрадь	125
«Нам этот стыд запишут в минуса...»	127
«Синяя вода, русская река...»	127
«Господи, да отчего же грустно-то так...»	128
Non-stop!	128
«Полночный эльф летит над Сибревкомом...»	129
«О, не смей, сиромятное сердце...»	130
Живой лес	131
«Голову на плаху, сердце на алтарь...»	132
«Мёд последней печальной любви...»	133
«Брат мой, за что ты меня распинаешь...»	134
«Всё в мире пепел, всё свет, всё тень...»	135
«Заплакал колокол села, в котором вы не дышите...»	136
Тишина	138
«Стихи мои – товарищам помин...»	195
«Старики всё глядят на дорогу...»	196
«Покрести на дорогу мне сердце и сокола выпусти...»	197
«Я вернулся домой через зарево лет...»	198
«Я с детства боялся сиреневых глаз...»	199
снег снег снег снег снег снег снег снег снег	200
«Отчего в этом доме светло...»	201
«По урезу воды...»	203
Иван и Прасковья	204
«Птица Божия – Коля Шипилов»	206
«Отчего в этом доме светло...»	
Пригородный вальс	222
Конь	225
«Положу свои слова на сохранение...»	227
9 Мая	229
Журавли...	230
Красавица	232
Ржанка	234
«Барнаул»	236
«Книга выйдет при полном молчании...»	237
«В день рожденья Пушкина...»	238
Однажды поздней осенью	239
«Жить было больно, но надо...»	240
«Я вспомнил себя и заплакал...»	241
«Молитесь Господу за Родину...»	243

Литературно-художественное издание

Денисенко Александр Иванович

ИЗБРАННОЕ

Стихи и проза

Редакторы-составители *М. А. Косарев*
М. Н. Акимова
М. Н. Шукин

Корректор *Л. Н. Подистова*
Верстка *О. Н. Вялкова*

ISBN: 978–5–88742–172–8



Подписано в печать 6.06.2019. Формат 70х108/32.
Печать офсетная. Тираж 1000 экз. Заказ

ГАУК НСО НГОНБ.
630007, г. Новосибирск, ул. Советская, 6
ipo@ngonb.ru, vk.com/ipo_ngonb

Отпечатано в ООО «Новосибирский издательский дом».
630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104
<http://книгосибирск.рф/>